

Алексей Чурбанов

# *Русские исповеди*



# **Алексей Е. Чурбанов**

## **Русские исповеди**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=10265219](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10265219)*

*ISBN 978-5-4474-1085-8*

### **Аннотация**

Книга, которую вы держите в руках, включает семь увлекательных рассказов о русских людях разного происхождения и социального статуса, не потерявших себя в вихре событий российской истории второй половины XX – начала XXI века. Героев роднят самобытность и сила характеров, позволившие сохранить достоинство и внутреннюю свободу в сложных, порой трагичных обстоятельствах.

Книга заинтересует любителей современной психологической прозы и всех, кто неравнодушен к слову «русские» и к его смыслу.

# Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Я маленький                       | 5   |
| Мой муж – нацмен                  | 27  |
| 1. Алёна Петухова                 | 30  |
| 2. Янис – Дубок                   | 35  |
| 3. Ильяс – Джигит                 | 47  |
| 4. Борис – Король                 | 67  |
| 5. Эпилог – развязка              | 85  |
| Возвращение домой                 | 89  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 113 |

# **Русские исповеди**

# **Алексей Чурбанов**

© Алексей Чурбанов, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе  
Ridero.ru

# Я маленький

Сквозь тяжёлую дрёму слышу детские голоса и открываю глаза. Ну, наконец-то!

Из открытой двери детского садика горохом сыплется малышня и тут же разбредается по игровой площадке, ограниченной с трёх сторон подстриженным кустарником.

Я сижу на скамейке в углу площадки, и меня никто не гонит: привыкли уже и воспитатели, и дети. Скамейка – длинная. На другом её конце две бедовые девчонки, которых я окрестил про себя «деревенскими», начинают лепить куличики. Совсем меня не боятся, а ведь ещё недавно я вызывал у окружающих уважительный страх, во мне сразу распознавали вожака, вокруг меня всегда собиралась «стая».

Прошлой осенью, однако, мне стукнуло семьдесят, и всё покатилося в тартарары. Резерв организма, похоже, исчерпался, и он пропустил несколько ударов, от которых я ухитрился оправиться, но с потерями: сердце застрибило, правая нога стала загибаться, и пальцы на руках скрючились. Хорошо, хоть мозги нетронутыми остались... Ну, почти нетронутыми.

Нас ведь так не возьмёшь! Ежедневная тренировка мозговых извилин – пять разгаданных кроссвордов. «Революционный крейсер» – это я сам догадываюсь, «публицист, разбуженный декабристами» – это дочь помогает, а «восточный

кисломолочный напиток» – то внучка на своём компьютере поглядит.

Одно плохо: самостоятельно я теперь не хожу. Только с помощью дочери, которая каждое утро приводит меня сюда, а к обеду забирает домой. Ей это не нравится, но куда ж денешься, ведь я приютил её, разведёнку с дочкой (мне внучкой), в своей квартире. Если бы не это, сдала бы она меня в богадельню. Так что мы с дочерью моей Галиной не очень дружим. А вот внучку мою, сорванца Валюшку, я обожаю.

Так, ну-ка, какова у нас диспозиция?

Малышня равномерно распределилась по игровой площадке и занимается делами по интересам. Меня, собственно, из всей этой толпы интересуют четверо: три парнишки и одна девчонка, за которыми я давно слежу. Вся их жизнь разворачивается на моих глазах.

Первого я называю Рабочий. Этого белобрысого пацана всегда одевают в комбинезончик а-ля пролетарий с завода Форда. Но дело даже не в одежде. Паренёк имеет рабочую хватку, житейскую смекалку, пролетарский напор. Я – сам бывший рабочий – чувствую это сразу.

Второго интересующего меня мальчишку я называю Профессор. Представитель известной «прослойки», с которой у меня в молодости были счёты. Сейчас поостыл, дочь, опять же, – доцент. Ладно, пусть живут. Но рабочий класс всегда будет в противоречии с интеллигенцией. Так у него на роду написано: читай Маркса, он не устарел.

Профессор носит круглые очки с резиночками. Но дело не в очках. У Профессора особый взгляд: восторженный и одновременно оценивающий, когда он видит перед собой что-то новое. Его мысли – пугающе материальны. Я, сидя на скамейке, чувствую, как в этой головке рождаются идеи. И страшно и смешно – он не властен над реализацией своих идей. Претворение их в жизнь зависит от третьего парнишки.

Третий парень – это Функционер – так я его окрестил. Весьма знакомый мне тип. Я сам много лет был функционером – освобождённым партийным работником нижнего звена. До большего не дорос, о чём сейчас уж и не жалею. Но этот пацан дорастёт! Хватка у него есть, вопрос только времени.

Ну, и девчонка в серой юбке и курточке с капюшоном, – я называл её Мама. Мама как всеобщий символ покоя. Мама, о которой мечтает каждый нормальный мужик. Мама, которой у меня не было.

Я никогда не увижу их взрослыми. Да мне и не нужно. Достаточно смотреть, как они играют в свои игры также увлечённо, как мы, взрослые, играем в жизнь, и – вспоминать себя. Только что и остаётся.

Дочь моя, Галина, к весне одела меня прилично: на мне бежевая ветровка, штаны синие вроде джинсов и ботинки на непромокаемой подошве. Я теперь как жених, а если ещё очки тёмные надену, то как иностранный жених. Хоть жен-

ский пол меня уже лет тридцать только раздражает.

Вон воспитательница у детей молодая и смазливая. Но меня это не волнует. Последняя женщина, с которой я спал, — моя собственная покойная жена, и было это у нас с ней как раз лет тридцать назад. Потом я потерял интерес. Бог ли наказал меня, или дьявол надо мной посмеялся, — не знаю. Трусоват был. Может быть, я сгущаю краски.

А ведь в юности мне везло. Закончил особую школу, в которой учились дети партийной и государственной номенклатуры. Для меня эта школа в Замоскворечье оказалась дворовой, поэтому отказать в приёме не смогли. Попав в «высшее общество», сначала закомплексовал, но быстро выяснил, что номенклатурные детки, в сущности, неплохие ребята — не жадные и в жизни очень наивные. Высокопоставленные родители делали всё, чтобы их отпрыски не выделялись среди одногодков, поощряли их дружбу с «народом», то есть со мной. А я был хватким и быстро обучился поддерживать умный разговор, адекватно реагировать на номенклатурный юмор и самому, если нужно, сально. Поэтому меня часто приглашали в гости.

Больше всего я бывал в многокомнатной квартире на улице Горького с видом на Юрия Долгорукого. В этой квартире известного академика, с сыном которого, Аликом, меня связывала единственная в моей жизни настоящая мальчишеская дружба, произошли все важнейшие события моей юности. В комнате Алика я научился курить табак и ана-



шу. В знойные летние дни, когда Аликовы родители уезжали за город, мы в гостиной на диванах слушали американские пластинки, пили виски и танцевали с девчонками. В личной картинной галерее папы Алика я впервые поцеловал девочку, зажав её между золочёных рам. Это была Аля – дочка домработницы, которую по настоянию Аликовых родителей всегда приглашали на наши вечеринки. Через год в ванной комнате этой же квартиры я овладел Алей как женщиной, но, видно, не понравилось ей, так как больше она ничего такого мне не позволяла.

А может быть, поняла, что я не из среды её хозяев. Я-то всегда чувствовал собственную ущербность, недоделанность. Потому в последнем классе обратился к кругу мне более близкому – дворовой шпане. Там я тоже не преуспел: мне сломали нос и два ребра, я с трудом вывернулся из грязной истории с изнасилованием каких-то малолеток и после выпуска из школы вдруг оказался в совершенном одиночестве. Мои номенклатурные товарищи поступили и престижные вузы. Дворовые приятели один за другим отправлялись на зону. Я томился и, с трудом дождавшись призыва в армию, отправился служить на Чукотку. Надо было мне оставаться на сверхсрочную: и амбиции бы собственные потешил, и пенсию бы сейчас получал приличную.

Но тогда армия показалась мне слишком жестокой школой, я дембельнулся в шестидесятом и вернулся домой, где меня уже особо и не ждали. Но куда было родителям деть-

ся – подвинулись. Вообще, я на них не в обиде, разве только на маму немного – за редкость ласки. Как вернулся домой, она стала требовать, чтобы я поступал в вуз, батя уговаривал идти в техникум, но мне после армии за парту уже не хотелось, и я устроился разнорабочим на завод «Серп и молот», чтобы попробовать на вкус самостоятельную жизнь.

Этот короткий период моей трудовой биографии оказался самым счастливым. Я впервые ощутил собственную нужность стране, людям, а главное, – самому себе. Пролетарская солидарность, чувство локтя и товарищество – это не на словах, а так, что, если один встаёт, то с ним встают все, и попробуй что-нибудь сделай с нами!

Рабочий день начинается в восемь – в это время нужно уже стоять в робе при входе в цех. Из дома же я выхожу в шесть пятнадцать, еду сначала в метро, а потом в трамвае – вместе с другими рабочими (служащие и интеллигенты появляются в транспорте позже). Лица рабочих в утреннем метро суровы и прекрасны, даже если на них отражается недосып и перепой. Сила и воля этих людей – вот что вдохновляет и вызывает зависть.

Кто этого хоть раз не почувствовал, меня не поймёт. Принадлежность к рабочему классу зародила во мне чувство собственного достоинства. Я оказался под защитой великого государства. Словом «рабочий» можно было как тузом покрыть все карты. Сравните, например, принадлежность к рабочему классу и унижительную принадлежность к «служа-

щим». Да и интеллигент молчал в тряпку в присутствии рабочего, способного грамотно излагать мысли, подкрепляя их пролетарским напором и бескомпромиссностью.

После приличной школы да с армейским опытом я долго в подсобниках не проходил. Как малопьющий и аккуратный уже через два месяца красовался на доске почёта цеха, а потом фотку перенесли на доску почёта завода. И вот где-то через полгода ко мне подошёл мужик нерабочего вида, в костюме, угостил дорогой папиросой и увёл в административную часть здания в чистый кабинет. Я не удивился приглашению, потому что ни секунды не сомневался в том, что меня заметят и выделяют.

Но то, что мне предложили, оказалось выше моих самых амбициозных планов. Должность освобождённого комсомольского секретаря мне предложили. За то, что работу не манкирую, по-чёрному не зашибаю, слова умные говорить умею и десяток английских слов знаю...

Вот и Галина пришла, подсаживается под плечо.

– Что-то воспоминания одолевают, не к концу ли это? А, Галина? Когда будешь хоронить меня, возьми Валюшку на похороны. А то знаю: жалеть её начнёшь, чтобы не расстроилась, да чтобы не испугалась трупа собственного деда.

Галина ведёт меня к подъезду и раздражённо талдычит о неуместности печальных мыслей. Уши бы заткнуть, да нечем...

Первая смерть у нас в доме произошла, когда мне было

пятнадцать: от тифа в три дня сгорел мой любимый двоюродный брат Юрик. Они жили в Томилино в собственном доме, и с раннего детства каждый год всё лето я проводил там. Извилистая Пехорка мне за океан сходила, а сосновый подлесок – за джунгли непроходимые. Мы с Юриком ездили на мотоцикле в керосиновую лавку, а по воскресеньям ходили в поселковую баню. И вот всё кончилось.

Братика обмыли и уложили на деревянный стол в центре дома. Я испугался, затосковал и всё время, пока Юрика готовили к похоронам, по улице шлялся, приключений на свою голову искал от шпаны местной. Отец увидел такое дело, отозвал меня и говорит: поезжай-ка ты в Москву, обойди всех по списку, и бумажку мне протягивает, передай весточку горестную и сообщи о похоронах. А потом иди домой, вот ключ тебе. В ближайший выходной мы с тобой на кладбище съездим, Юрочку помянем.

Так всё и случилось. Вместо брата Юрика я увидел земляной холм, выпил гадкой водки и слезы не проронил. Батя даже удивился.

Дальше у нас в семье так и пошло. Галину, когда родители мои в один год почили, я тоже на похороны не брал. А когда супружница моя Мария Алексеевна – Галина мама – на тот свет ушла, так дочь сама не захотела на похороны идти. Объявилась на поминках и то накоротке. Стало быть, мои похороны у Галинки первыми будут за её сорок с лишком лет: больше ведь некому меня хоронить. Бедная!

Эх, зря батя эту традицию зачал. Если близкого человека на тот свет не препроводить, то будто слово недосказанное остаётся, разговор прерванный. И продолжаешь ты говорить с ним, доказывать что-то, оправдываться всю оставшуюся жизнь. Душа ожесточается от того, что в ответ тишина, а значит его слово – последнее. Сам от этого страдаешь, живые близкие страдают. Не потому ли мы с Галиной языка-то общего не найдём? Мёртвые, с которыми мы не попрощались, между нами стоят...

\* \* \*

Идут дожди, и я сижу на фанерке, которую Галина предусмотрительно подкладывает под меня, чтобы не простудился. Снова слышу детские голоса и открываю глаза. Малышня с гомоном разбегаются по площадке, в центре которой уже несколько дней стоит глубокая лужа.

Рабочий каждое утро начинает возводить на ней плотину из песка и глины, которая, судя по задумке, должна разделить лужу на два озера. Ему помогают трое пацанов из тех, что нуждаются в «стае» и не могут без вожака. За ночь плотина разрушается дождём и ботинками прохожих, но на следующий день рабочий с корешами, не теряя энтузиазма, начинают всё с начала.

В этом – пролетарская мудрость. Рабочий не должен ломать голову над стратегией, ставить длинные цели: отвечай

за свой маленький участок производства и не волнуйся о результате в целом. Но при этом ты – пролетарий – справедливо ожидаешь, что работа твоя будет вечной, а значит и зарплата – вечной. Попробуй, обмани пролетария в этих его справедливых ожиданиях – получишь бунт, революцию. Умный функционер это знает.

Вот профессора обманывать можно и нужно. Во-первых, с этого ничего не будет: профессор и даром станет работать. А если взбунтуется, то значит это никакой не профессор, а диссидент. В советское время диссидентов гнали из страны, но я утверждаю, что эти методы и тогда не сильно ценились профессионалами.

Профессиональный функционер интеллигентов не боится и не гонит: он их приручает. Играет с ними, как кошка с мышью: тешит самолюбие, поощряет, поддаётся, а потом кусает; ссорит друг с другом (они это любят), а потом мирит; много обещает, выдавая обещанное по крошкам, а потом предъявляет счёт. И учёные эти, артисты, писатели-бумаго-маратели готовы подмахивать любые коллективные письма, глотку себе подобному перегрызут, только бы отработать выданный аванс. А аванс-то копеечный!

Есть и более высокое мастерство – приручить интеллигента идеологически: вообще ничего ему не дать, а с него взять всё. Таких мастеров среди функционеров всегда было мало, а сейчас и вовсе нет. Шантажировать – это мы можем, а идеологически убедить – нет.

Прошу понять меня правильно: я функционеров не возношу. Нынче их уровень упал ниже плинтуса. Забыт главный принцип, который я вынес ещё из комсомола: функционер не должен опускаться до стяжательства или воровства. То, что ему причитается, он и так получит, а на то, что не причитается – жадным глазом не смотри. Ты – функционер, ответственный работник, белая кость – этого достаточно, чтобы чувствовать себя хозяином жизни. За тобой государство, веди себя хорошо, и тебя не бросят, и народ тебя будет уважать.

А сейчас государственные люди хотят и миллионы иметь, и власть, да ещё чтобы уважали их. Ха, так не бывает! Хочешь денег – иди в спекулянты, а мы тебя к ногтю. Хочешь власти – оставайся с нами, не зарывайся, носи скромный френч, – всё получишь, что тебе надо. И уважай пролетария, потому что без него ты – никто: голым по миру пойдёшь. И приручай интеллигента, а то в каменный век вернёшься, на пальме снова окажешься и не заметишь как.

– Заруби это на носу! – говорю я вслух и пугаюсь собственного хриплого голоса. Девчонка на другом конце скамейки быстро собирает ведёрки и ретируется поближе к воспитательнице.

Несколько раз глубоко, до головокружения, вздыхаю, чтобы успокоиться, и возвращаюсь к наблюдениям за моими подопечными.

Профессор – молодец: он всегда один, не присоединяет-

ся ни к какой «стае». Наблюдает за жизнью со стороны, вмешиваясь в события, только когда считает нужным объяснить что-то или предложить решение немудреной задачки. Скромен, пока не завладевает вниманием, потом же зануден и наступателен.

Кто-то с восхищением следует за ним, но Профессор быстро теряет интерес к возникающей «свите» и снова уходит «в тень», возвращаясь к своим наблюдениям. А иногда, устав от менторских профессорских наставлений, кто-то отталкивает его грубо: подсказал, мол, и двигай отсюда, не дави умом!

Так поступает мой Рабочий. Получив от Профессора разъяснение относительно роли булыжника как задвижки в плотине, пролетарий отворачивается от него, а когда юный интеллигент, блестя запотевшими очками, продолжает приставать с разъяснениями, толкает его в грудь и уходит. Вижу, с каким уважением смотрят на Рабочего его кореша – сегодня он положил ещё один кирпичик в здание своего пролетарского авторитета. Профессор, надо отдать ему должное, не обижается, а отойдя к моей скамейке, продолжает наблюдать за строительством дамбы, раздумывая об очередном рационализаторском предложении.

Периодически к строителям дамбы подбегает Функционер, осматривает работу, потом отбегает к другим детям и что-то говорит им, показывая пальцем на лужу. Из своего опыта я догадываюсь, что он рассказывает о том, как «мы



пахали». Время от времени Функционер собирает группку сочувствующих и подводит их к луже, позволяя наблюдать за работой Рабочего с корешами и за творческим раздумьем Профессора. Впрочем, долго наслаждаться причастностью к великой стройке Функционер не даёт, энергично разгоняя образовавшуюся толпу.

Через некоторое время он приводит к объекту очередную группку восторженных обывателей. Сейчас он самый авторитетный человек на площадке. К нему тянутся девчонки, он в центре заинтересованной толпы. Наконец он решает на главный свой поступок сегодня: подходит к молодой воспитательнице, говорит ей что-то, указывая на плотину. Она подходит, и вся группа собирается вокруг лужи, восхищённо блестя глазами. На миг в центре всеобщего внимания оказывается Рабочий. И это правильно, он должен получить свою долю славы – стахановец наш. Однако внимание зрителей опять завоёвывает Функционер. Не перебирай, не петушись, не ты ведь строил! Будь скромнее.

Только Профессор остаётся «в тени» и вообще теряет интерес к проекту, раздумывая о чём-то новом. Так и должно быть.

Группа девчонок начинает совками переносить воду через плотину, подтапливая сооружение, которое вот-вот даст течь. Это видит Рабочий и, нахмурясь, пытается отеснить непрошенных помощников, но это ему не удаётся. Осёлённые авторитетом молоденькой воспитательницы, девчон-

ки продолжают испытывать сооружение на прочность. Видя, что дамба стремительно расползается, Рабочий сам ногой пробивает в ней брешь, через которую потоком вытекает жёлтая вода. Все замирают в восхищении. В это время из толпы вырывается Функционер и, оттолкнув Рабочего, начинает прыгать по дамбе, окончательно разрушая её и обдавая брызгами стоящих вокруг. Девчонки с визгом разбегаются. Воспитательница ловит Функционера за руку и оттаскивает его от лужи. Он вырывается. Вижу лицо парнишки: оно то морщится в плаче, то кривится от смеха.

Ишь, как возбуждился! Ничего, это от неопытности. А сделал ты всё правильно: нельзя отдавать инициативу Рабочему. Твоё слово последнее.

К Рабочему подходит Мама и даёт ему платок. Тот, как взрослый, вытирает руки и лицо, потом вдруг издаёт торжествующий вопль и, размахнувшись, кидает платок в лужу. Я вижу Мамин взгляд: в нём укор и нежность. Везёт же тебе, Рабочий. Доставай платок, вот так. Эх, где моя мама? Это не мама, а дочь моя Галина пришла. Галина-Галина, горе моё! Разве ты заменишь мне маму?

\* \* \*

Сегодня на площадке появляется новое лицо: худой мальчик с русым ёжиком в коротком коричневом пиджачке. У меня аж сердце прихватывает и дыхание останавливается:

это же я – маленький. Это я – стою и боюсь отойти от воспитательницы, а она толкает меня рукой: иди, мол к другим, играй.

Это я – новенький. Забытое, страшное слово. Я столько в своей жизни менял садиков, классов и работ, что мне кажется сейчас – я всегда и везде был новеньким. И звали меня Сопля. За прозвище я, кому надо, отомстил сполна. Но всё равно обидно: любой новенький ведь в коллективе сначала – Сопля. Пока не наберёт силу и авторитет. Я только успевал набрать, а меня раз в другое место, и снова – Сопля.

– Ну что ж, будем бороться, Сопля. Смелей! – обращаюсь я к Себе-маленькому. Я-маленький, будто читая мысли Себя-старого, оглядываюсь по сторонам и осторожным шагом иду к луже, где ковыряется Рабочий с корешами.

– Правильно, Сопля, – одобряю я со скамейки. – Пролетариат плохого не сделает. В худшем случае матом научит ругаться и горькую пить. Тоже полезная наука.

У меня в детстве и в юности был один недостаток, с которым я всю жизнь боролся, – сентиментальность. Она пришла ко мне от отца – мягкого человека, всё время попадавшего впросак со своей добротой, и если бы не мама, так ничего не добившегося бы в жизни. Мама направляла его, часто довольно жёстко, и я привык к тому, что у нас в семье отец считался кем-то вроде юродивого. Над этим посмеивались, этого стыдились, это выжигали калёным железом. Я – в себе, а мама – во всех нас. В результате батя дослужился

до должности начальника цеха на авторемонтном предприятии, а мама так и осталась старшим инженером в проектном институте, и винила в этом нас с отцом – бесхребетных...

Лучше бы отец был с характером, а мама помягче. Батя бы порол, а мама бы, к примеру, успокаивала. Мечтать, однако, не вредно.

И у дочки моей, Галины, всё повторяется. Она слишком строга к моей внученьке Валюшке, а я внучку балую, соплями приторными исхожу, как её вижу. На том мы с Галиной цапаемся, и нет тому конца, и не будет, пока я силу имею. Не долго, впрочем, осталось. Галина тоже это чувствует, притихла: ждёт, когда природа довершит своё дело, и можно будет сдавать моё брэнное тело в утиль.

Долгое время я считал, что убил в себе сентиментальность. Теперь же вижу, что не до конца. Иначе не переживал бы сейчас за сопливую малышню, из которой ещё не известно, что вырастет. Даже представить трудно, что у них впереди. Ведь когда им стукнет семьдесят, как мне сейчас, на дворе будет аж 2075 год. Где всё будет происходить: на Марсе? Да и останется ли к тому времени что-нибудь от всех нас?

Я-маленький так и не могу ни к кому пристроиться. Походив от компании к компании, залезаю в кустарник и затихаю там. Переживаю.

– Ничего, – мысленно обращаюсь я к себе на площадке, тоже переживая, – не всё сразу. Я заметил, что, когда ты ото-

шёл от воспитательницы, на тебя внимательно посмотрела Мама. Проводила взглядом до плотины, где Рабочий толкнул тебя и крикнул что-то обидное. Значит Мама – с тобой, а это главное. На Рабочего не обижайся, среди них тоже дураки встречаются.

Два дня Я-старый наблюдаю со скамейки, как Я-маленький пытаюсь набиться в друзья к Рабочему, и, наконец, меня впускают в круг избранных. Сегодня позволили сорвать с кустов веточки для веников. Рабочий решает подмести дорожки на площадке. Он делает два веника: большой – себе, и маленький – мне. Больше ни у кого веников нет. Мы вдвоём – у всех на виду – становимся лицом друг другу на противоположных концах дорожки и начинаем мести, поднимая клубы жёлтой пыли.

– Дурачок, – беззлобно думаю Я-старый, наблюдая за Собой-маленьким, – у тебя голова есть на плечах? Пролетарий наш убежит или отбрешется, а ты получишь сполна. Сегодня воспиталка дежурит – ведьма.

Поворачиваю голову и вижу, что старая воспитательница стоит у забора и треплется с двумя местными бабками – в соседнем подъезде живут. У меня возникает необъяснимое волнение, кружится голова, и я хватаюсь скрюченными пальцами за скамейку.

А старая карга всё не видит, что происходит на вверенной ей территории. А происходит то, что Рабочий и Я-маленький поднимаем такой столб пыли, который накрывает каче-

ли и движется теперь к забору. Дети перестают играть и отбегают к кустам, а старуха-воспитательница всё не поворачивается. Нанимают же таких ведьм бездарных! Ясно же, что чем больше пыли поднимется, тем строже будет наказание. Я чувствую себя уязвимым, как те шалопаи, и сердце у меня, как в детстве, уходит в пятки.

– Завязывай, пацаны, а то получите сейчас, – хриплю я и машу им рукой со скамейки, но меня не слышат и не видят.

Возмездие неотвратимо. Старуха наконец оглядывается, оценивает обстановку и, молча, как нападающая волчица, незаметная в клубах пыли, подбегает ко Мне-маленькому. Её неожиданное появление вводит меня в ступор, я роняю веник и хочу убежать, но ноги не слушаются. Тогда я приседаю, и ежесекундно вздрагивая от ожидания ударов, на четвереньках ползу в кусты.

Старухе кажется достаточным моё унижение. Она, укусив меня злобным взглядом, пробегает мимо прямо к Рабочему и чётко рассчитанным движением хватает его за ухо. Рабочий вертится и пищит, пытаюсь вырваться, но она нагибает ему голову и молча хлещет пыльным веником по шортам и голым ногам.

Я-старый безучастно наблюдаю за происходящем, пока в голове не раздаётся треск, будто меня подключили к розетке. Тогда я встаю со скамейки и иду к месту экзекуции.

– Отпусти, стерва! Отпусти его немедленно, – хриплю я, подходя вплотную к старухе, увлечённой наказанием, и хва-

таю её за костлявую руку. Другой рукой беру за шиворот Рабочего, но тот легко вырывается. На мгновение ловлю испуганный взгляд пацана, и подмигиваю ему правым глазом.

– Охрана! – кричит старая карга прямо мне в ухо. – Нападение! Террорист-смертник!

– Сейчас, – усмехаюсь я про себя, – посмотрим, кто тут смертник!

Меня сзади резко дёргают за воротник куртки. Поворачиваюсь и вижу перед собой круглое лицо парня-охранника.

– Ты чего, дед? – бормочет он встревоженно, придерживая меня за плечо и аккуратно загибая мне руку за спину, – заболел, что ли?

– Она бьёт детей, – хриплю я в ответ.

– Вызывайте милицию, – слышу из-за спины охранника спокойный уже голос воспитательницы. – Это педофил. Неделю здесь сидит, выбирает жертву.

– Не очень он похож на педофила, – говорит охранник, заглядывая мне в глаза, и неожиданно отпускает мою руку.

– Говорю вам, педофил. Держите его, я пойду звонить в милицию.

До меня постепенно доходит, что это всё про меня. Одновременно мозг, перебирая варианты, наконец, находит в дебрях памяти значение слова «педофил», и у меня темнеет в глазах: «Я, отец взрослой дочери и дед внучки-школьницы – педофил?!»

Хочу добраться до старой карги, чтобы схватить её за гор-

ло, но правая нога гнётся, словно макаронина, и не держит тело. Картинка съезжает вбок, и меня в нос с размаху бьёт шмат дёрна, пахнувший мокрой травой.

\* \* \*

Шок, боль, комната.

Лопотание чужих голосов, удушье, страх.

Укол. С трудом открываю глаза: я в своей постели. Кто меня втащил на четвёртый этаж и уложил? Галя? Сколько всё-таки горя приношу я близким...

– Мама, мама! Дедушка очнулся, – эта внучка моя, Валушка, кричит откуда-то сбоку. Я её не вижу, но чувствую близко, рядом...

– Открой форточку, – слышу я голос дочки Галины, – а то дедушке нечем дышать.

Стук оконной рамы, в комнату вместе с живительным воздухом врываются детские голоса, и я вспоминаю всё: Рабочего, Меня-маленького, старую ведьму-воспитательницу и её надтреснутый голос, выговаривающий мерзкое слово, которое даже про себя повторить не могу.

Передо мной как из тумана появляется Галино лицо, я вижу её встревоженные глаза, слышу её голос:

– Не волнуйся, тебе нельзя. На, – и мне в рот льётся сводящее скулы лекарство.

Я будто засыпаю, но продолжаю слушать детские голоса



на улице, пытаюсь угадать, кто чем занимается. Рядом с кроватью слышится шорох. Кошу глаза и очень близко вижу лицо внучки с поджатыми губами и огромными синими глазами, в которых таится испуг. Я раздвигаю губы в улыбке и говорю, неожиданно чистым голосом:

– Валюшка.

– Что, дедушка? – девчонка нагибается ближе ко мне. Хочу её поцеловать, но нет сил поднять голову с подушки. Но говорить сила ещё есть. И я говорю: чётко, хоть и с перерывами:

– Там на улице... мальчишка в коричневом пиджачке... посмотри.

Валюшка послушно отодвигает тюль и долго смотрит в окно.

– Есть, дедушка! Есть мальчишка в коричневом пиджачке.

– Что он делает? – хриплю я, и сердце моё замирает, как бы раздумывая, биться дальше или нет.

– Он играет с девочкой в серой юбке.

У меня с глаз падает пелена, в теле появляется недюжинная сила, и я сажусь на постели.

– Дедушка, тебе нельзя, – шепчет мне внучка, и взгляд её становится умоляющим, – тебе врач сказал лежать.

– Теперь мне всё можно, – чистым молодым голосом говорю я Валюшке и улыбаюсь в полный рот. – Это я с мамой, понимаешь? Я-маленький – с Мамой!

Комната вдруг переворачивается, и мой взгляд упирается в скучный потолок. В ушах сквозь звон пробивается мамина колыбельная.

– Дедушка вскочил на постели и упал! – слышу разрывающий сердце крик внучки.

Слева мелькает васильковый Галин халат: прибежала дочка. Пусть только попробует сказать, что мне нельзя. Мне всё можно... Мама!

Потолок темнеет, расплывается и обращается в свинцовое небо. Слышится нарастающий шум моря, сопровождаемый тревожными криками чаек: папа – папа – папа...

Из разрыва в тучах ослепительной иглой опускается солнечный луч. Он не больно протыкает меня, раскачиваемого волнами, сдавливает грудь, наливает тяжестью руки, сжимает горло. Мне остаётся только замереть и ждать. Томление становится невыносимым. Скорей же, ну! Из-под спины выдёргивают опору, и я лечу назад в пространстве белого света, который стремительно заполняет всё вокруг... Мама!..

Из комнаты на цыпочках, как от уснувшего, вышла Галина. Закрыла дверь к дочке, прошла на кухню и дрожащей рукой вынула из пачки тонкую сигарету. Торопливо затянувшись, сняла трубку домашнего телефона и набрала по очереди номера неотложки и милиции.

# Мой муж – нацмен

Жарким июлем 2008 года я возвращался на поезде из Москвы домой в Питер.

В душное чрево вагона сразу залезть не решился, стоял, курил на платформе. Рядом трогательно прощалась престарелая пара, на которую нельзя было не обратить внимание.

Она – высокая, грузная блондинка, великороска, с тонкой, но уже дряблой кожей полных рук. Лицо рыхлое, но приятное в своей естественной мимике – без подтяжек. В молодости, видно, была красивой.

Он – еврей, сильно старше её. Можно сказать, совсем старик: согнувшийся, но при этом в модных бежевых слаксах и клетчатой ковбойской рубаше, выбивавшейся из-под потёртого ремня.

– Лялечка, ты мне позвони, как устроишься, – повторял он. – Позвони. А телефон убери, потеряешь.

– Уберу, Боря. И позвоню, – громко отвечала она, поглядывая через его плечо на окружающих и как бы извиняясь. – Ты иди, иди. Иди прямо сейчас.

– Нет, я буду ждать отхода поезда, – упрямо говорил он, придерживая её за локоть. – Мне телефона не жаль. Жаль, если ты не позвонишь.

– Я знаю, знаю, – тихо отвечала она ему (я стоял рядом и слышал), и снова громко: «Иди, ну иди же, Господи.»

Она позволила себя поцеловать, потом мягко, но решительно отстранила его и, кивнув всем, вошла в вагон, со спокойным достоинством опершись на подставленную проводником руку и приняв от него большой чемодан.

Мы оказались с ней в одном купе в компании двух командировочных мужичков, быстро закинувших чиновничьи портфели наверх и торопливо засобиравшихся в ресторан.

Когда все ещё были в сборе, она, уже устроившись у окна, оглядела нас и сказала, то ли гордясь, то ли извиняясь: «Мой муж – нацмен».

– Видели, бабуля, – хихикнули командировочные. – И как вы с ним?

– Тяжело..., но хорошо.

– Сочувствуем, – понимающе переглянулись соседи, подмигнули мне и выскочили из купе.

– А чего ж сочувствовать? – не обидевшись, спросила она уже у меня. – Если хорошо подумать, то можно и позавидовать.

Поезд тронулся, и она помахала ему через пыльное стекло, а он, подпрыгивая, как на верёвочках, двинулся было за вагоном, но тут же отстал, затерявшись среди провожавших.

– Господи, говорила же: иди, – улыбаясь, проворчала она. – Упрямый.

– Меня зовут Алёна Ивановна Петухова, – обратилась она ко мне. – Представляете, три раза замуж ходила – и все три

мужа с нерусскими фамилиями. А я как родилась Петуховой, так Петуховой и помру.

За иностранцев замуж ходили?

– Нет, какие иностранцы, наши советские люди. Я расскажу, если вам интересно. И про себя расскажу.

Времени было много, я достал коньяк, разлил и стал слушать её рассказ. Интересный, надо сказать, был рассказ и поучительный. Я не стал бы его записывать, – просто распустил бы на анекдоты, – но сложилось так, что я узнал про неё всё до конца. И вот – записал.

# 1. Алёна Петухова

Немножко обо мне послушайте. Потом понятнее будет.

Я – сельская, родилась в деревне Зарубино Высоковского района Торжокского уезда. Правда, красиво звучит? Высоковский район, станция Высокое. Бодро звучит.

От нашей деревни в пятнадцати верстах по полевой дороге – город Старица: небольшой, красивый, аккуратный, на берегу Волги стоит.

Меня ещё не было, но мать рассказывала, что у деда моего Петра Ивановича при нэпе была маслобойня. Дед масло возил продавать в Старицу на базар. Поторговав, обычно выпивал, и лошадь сама везла его до дому, а он спал себе на облучке. Бабушка считала это легкомыслием страшным и ругала деда, но никто его ни разу не ограбил. Был другой случай. Раз, поторговав, дед отошёл к забору пересчитать барыши, а из-за забора вдруг рука высовывается и хватать деньги. Дед бросился к милиционеру, но тот отмахнулся или сделал вид, что не понял. Тогда дед побежал к рыночному авторитету, как теперь говорят. А рынок в то время держали приезжие – ни одного знакомого дед в конторе не нашёл. Но объяснил, с какой бедой пришёл. Посовещались хозяева рынка и отсчитали деду половину суммы. Вторую половину взяли себе за то, что вора найдут: знали, кто это сделал.

Потом раскулачили нас, забрали маслобойню, лошадь,

и стали мы жить бедно, как все.

В деревне нашей, когда я родилась, было больше ста домов, церковь своя (заколоченная), клуб. Колхоз не маленький. И жили в деревне не только русские. Была семья Ми-тавских, так, посмотришь: вроде, – как все, но нет: какая-то выправка – не как у нас – у них была, и гордость какая-то – беспричинная, – но они ставили так, что законная. Ещё были южане, с Украины несколько семей. Песни пели – заслушаешься. Но наши тоже петь горазды были. А ещё на гармонике играли, на балалайке. В общем, голосистая деревня была. И дружная. Жила даже татарская семья, как занесло их к нам, не знаю. За кладбищем же у нас стоял цыганский табор.

Но в основном, конечно, русские жили, люди простые, без всякой этакой гордости. Всё больше сдержанные, даже подозрительные, не улыбнутся, не пошутят, а если пошутят, то лучше бы не шутили, одни только слёзы после их шуток. Потом я уже поняла (жизнь показала), что это – особенность русских, живущих в наших северных краях. Они сначала как бы отталкивают тебя, а потом, если понравился, постепенно приближают, смягчаются, и юмор появляется, и смех, и нежность боязливая, а потому особо ценная. И если беда какая случится, то тоже не сразу подойдут: сначала посмотрят, не рассосётся ли, не показушна ли. Но, коль поймут, что не показушна, придут на помощь решительно и споро, уж можете мне поверить. А если беда непоправимая, то не бро-

сят, помогут, сколько надо, не выпячиваясь и не требуя ничего взамен. Но, коль не понравился ты, лучше сразу уходи (это не Ленинград и не Рига, где приседают, улыбаются, делают такой вид, что не поймёшь, то ли любят, то ли проклинают). А у нас полутонов не было: как отрезали, и больше всё.

Ещё немножко про себя, и перехожу к мужьям. В войну уезжали мы на Урал, а, как вернулись, деревню нашу еле нашли. К победе осталось в ней меньше десяти домов, да и те пустовали. Церковь сгорела, но не осквернилась. Лики на стенах остались, даже как-то ярче стали. Знаете, как в кино: церковь без купола, остатки кованой ограды, свёрнутой взрывом в трубочку. Вокруг всё кустарником сорным поросло. Справа, где сельсовет был, – трава по пояс, кузнечики гудят. А внутрь храма зайдёшь, лики святых на тебя смотрят. Фигуры в синих хитонах склоняются. Кто – не знаю, так как в церковь не ходила и сейчас не хожу. Нашу-то церковь закрыли, когда я ещё не родилась, а, вишь ты, лики остались.

Наш дом тоже сгорел, он третий от церкви был вдоль овражка. Мама выкопала схороненные в огороде пожитки – ложки, вилки, кое какую посуду, и уехали мы в Старицу к маминому брату – дядьке Василию. Его семья, хоть в городе жила, но в своём доме – небогатом, но с садиком. Дядька воевал и вернулся, представьте себе, целым и невредимым. А жена его Мария под оккупацией была и тоже выжила, и дом сохранила.



Василий Алексеевич скоро приказал долго жить: пил много, как пришёл с войны, а мы остались жить с тётей Машей. Я в Старице школу закончила с грамотой. Читала много и всё представляла, что меня кто-нибудь заберёт отсюда. Так ясно представляла, что поверила. С этой веры и началась у меня взрослая жизнь.

Старица – красивый городок, но маленький и малоэтажный, как деревня. Волга там молодая, в высоких берегах, монастырь древний. Да только это я всё теперь понимаю, а тогда мне всё казалось скука постылая, мнилось, что жизнь проходит мимо, и у меня одно было на уме: вырваться, уехать. С мамой отношения не складывались. Отец в войну от нас ушёл, братик мой маленький умер в эвакуации. Вот мы с мамой и столкнулись – два характера. Она меня с детства в строгости воспитывала, не баловала. Если я простужалась и заболела, лечила битьём, чтобы впредь не повадно было. Нежной тоже бывала, но редко. Считалась я у неё непутёвой, легкомысленной.

Ко мне сватались два раза, но грубо как-то, неумело, и я отказала. И поехала завоёвывать Торжок. А куда ещё? Торжок не велик городок, но на тракте. Тверь – город побольше, да что говорить, – трамвай ходит. Страшно. Про Москву и Ленинград не говорю – мечта была просто несбыточная. Да в то время мне предложи, так ещё и не поехала бы со страху. Такой вот дикой была.

Решила начать с Торжка. Там и познакомилась с первым

моим мужем.

## 2. Янис – Дубок

Мою первую любовь и первого моего мужа звали Янис Озолинс. «Дубок» по-латышски значит. Познакомились мы на торжокской швейной фабрике, куда я устроилась работать, а Янис на этой фабрике мастером был. Как увидела его нерусское, молодое благородное лицо, как услышала певучий прибалтийский акцент, – на меня как морем тёплым пахнуло и янтарной смолой всю обволокло. А вокруг наши деревенские смазливые личики так и смотрят на него, так и поедают глазками бесстыжими. Он, как меня увидел, взгляд опустил, покраснел – застеснялся очень: я ведь красивая была и не то, что уж совсем скромная, даром, что неумеха в любовных делах. Словом, я поняла – это судьба. И развернулся у нас служебный роман.

Нет, вы только представьте себе: я – Алёна Петухова, а он – Я-а-нис О-о-золинс. Есть ведь разница? Я повторяла про себя имя, звучащее как песня, и думала: «Неужели этот мальчик – тоже советский человек? Спасибо партии за такой подарок». А у самой сердце заходило: что если быстро полюбил, быстро и разлюбит? Всё готова была ему простить – даже измену – лишь бы не разлюбил.

Сил вдруг откуда-то появилось немерено. Улыбка сама на лицо садилась, как его видела. Движения телесные появились, как из кино. Мечты сладкие одолевали. Одно слово:

любовь. А он – точно такой же, в меня влюблённый. Чтобы такое счастье пережить, стоило на свет родиться.

Мы свои отношения не скрывали, и как-то само собой всё подошло к свадьбе. Так я стала Алёной Озолинс, и стали мы жить в комнате, полученной Янисом на производстве. Янис ведь приехал в Торжок не совсем по своей воле. Он покинул Латвию сразу после победы, чтобы не быть обвинённым в помощи «лесным братьям», которые убивали коммунистов. Я не знала, были ли основания в таких обвинениях, и знать не хотела. В 1956 году, когда мы поженились, ему было 28 лет, но выглядел он как мальчишка. Мне было 20, мы жили вместе, любили друг друга, и этого было достаточно.

К этому времени Берию уже давно расстреляли. А сразу после свадьбы – ещё снег не стаял – партийный съезд произошёл, всем известный, на котором Хрущёв разоблачил Сталина. Тут же слухи волнующие пошли, и ожидания у людей зародились. Янис всё чаще стал говорить о возвращении домой, да я сама только об этом и мечтала. Больше года мы сомневались, списывались, и в июне 1957 года, наконец, собрались в Латвию. До железнодорожной станции добирались сутки, а как сели в поезд, от окна я уже не отрывалась. Чем ближе к Риге, тем больше встречалось каменных домиков, сараюшек – вообще больше камня в постройках, и почти не видно было бревенчатых изб, которые я только и знала до того. Рига показалась мне тёмным неприветливым каменным городом и сначала не очень понравилась. Понра-

вился только запах кофе на вокзале.

Но когда отъехали от Риги в сельскую местность, тут-то я рот и раскрыла. Всё, вроде, как у нас, а в то же время не так. Деревень, в какой я родилась, там не было. Были хутора со сплошь каменными постройками. Вместо церквей наших разорённых торчали шпили костёлов с закрытыми ставнями, забитыми окнами, но целых и невредимых. Даже коровы на лугу, казалось, смотрели в одну сторону и улыбались – такой там был порядок.

И вот приехали мы в город Кулдигу. Тут у меня восхищение дошло до предела. Городок – ну прямо наша Старица, только такая, какой она должна быть. Уютные улицы каменных домиков с черепичными крышами, палисадниками и двориками, заставленными аккуратными поленищами дров. Витрины магазинчиков с вывесками на незнакомом языке (кольнуло меня, правда: как у немцев, что в хронике показывали). Древний каменный мост через реку Венту (хотя наша Волга-то попривольнее будет, и Старицкий мост новый – повыше). Деревья на улицах расставлены так, как будто их специально рассадили, чтобы красивее смотрелись. Вышли мы на улице у ручья, закованного в каменное русло. Янис взял чемодан, где его и мои вещи были, в том числе платье праздничное, ненадёванное, и мы пошли во двор двухэтажного каменного дома с благородным мхом на древних стенах. У меня внутри всё сжалось. Не то, что я испугалась, нет. Но почувствовала важность момента.

Выбежала младшая сестра Яниса – опрятная светловолосая девушка, которая сразу невзлюбила меня; вышел крепкий, мускулистый старик – его дед (отец, как ушёл в леса, так и сгинул – в лесах ли, в Сибири ли – неизвестно). Наконец, с крыльца спустилась моложавая мать, они обнялись с Янисом и заговорили на своём латышском языке. Я стояла в сторонке, опустив глаза, и ждала, когда на меня обратят внимание. Мимо пробежали две девчонки лет пяти. Остановились около меня, как вкопанные, и, пролепетав: «Здравствуйте товарищи», стремглав понеслись дальше. Это единственное, что они знали по-русски.

Впустили меня в дом, начали мы жить вместе, и тут же возникли первые противоречия. Я сама часто давала повод, опыта-то ещё не было. Например, долго не замечала, что Янис мой попивать начал, или внимания не обращала. Нашто, коли пьёт, то не только семья, но и все соседи знают, и участковый, и продавщицы в сельпо. А мать его сразу заметила и расстроилась очень. Мне выговаривала, что русские спаивают латышей – приучают их к водке, а те, мол, только к пиву приучены. А я-то здесь при чём? Я что ли приучаю? Да и пиво у них такое, что лучше уж водки выпить: меньше в голову шибает.

Сейчас расскажу, как я пивом напилась. В июле празднуют у них праздник Лиго – Янов день. Это наш Иван Купала. В жизни я этот праздник не праздновала, венки не плела: блажью мне всё это казалось. А в Латвии это чуть ли не на-

циональный праздник – через костры прыгать да пиво пить. В советское время праздник Лиго был запрещён. Кому такая идея в голову пришла не знаю: праздники запрещать, но латыши говорили, что запрещён, и очень их это обижало. Тем не менее, молодые в этот день выпивали и какие-то свои гадания устраивали. Но никаких костров, чтобы всё было шито-крыто.

Янис на праздник Лиго раздобыл бочонок пива с соседнего хутора, где пиво варили, и было это пиво очень хмельное. Вечером стали во дворе праздновать. К ночи осталась одна молодёжь, и тут я пива-то и перебрала. Посмотрела, что Янис навеселе, и туда же. Напилась и стала стыдить их, что боятся они в открытую праздновать, костры жечь.

Они сидят, молчат. Тогда я взяла и разложила костёр прямо на улице перед домом. Сама дрова со двора принесла, сама подожгла. Мне никто не мешал, но никто и не подсоблял.

– Кто первый прыгать? – спрашиваю.

Молчат. И молодёжи-то всё меньше вокруг меня. Их старшие молча берут за руку и уводят. Словом, через костёр прыгали только мы с Янисом. Всю следующую неделю об этом в Кулдиге говорили. Приходили от городского главы, так ему сказали, что это приезжая русская праздновала языческий праздник Ивана Купала. После этого какое-то время Инга – Янисова мать – смотрела на меня вроде даже с симпатией.

Прожили мы осень. Я в доме хозяйничала наравне с хозяйкой. Всё бы хорошо, но чувствовала: конкурируем мы,

не сживаемся. Сталкиваемся на кухне, и как от прокажённых друг от друга руки отдёргиваем. Янис работу искал, да как-то не очень прилежно. Часто отъезжал в Вентспилс, иногда на несколько дней, и всегда возвращался оттуда навеселе. А Вентспилс – портовый город, там пьянство, проститутки. Не очень мне это нравилось, но сказала себе: «Не перечь, пока ты в чужом доме!».

Спали мы вместе в его комнате. Когда он дома был, миловались чуть ли не каждый день, да только никого не приживали. Мне бы уже тогда на это внимание обратить, но нет, не обращала: легкомысленная была, правильно меня собственная мать такой величала.

Зимой я поняла, что жить в каменном доме не теплее, а, может быть, и холоднее, чем в деревянном. У нас в избе русская печь тепло держит. А у них – каминчики хилые, буржуйки. И с дровами плохо было: мало заготовили, да ещё и разворовали у нас полполенницы. Словом, зиму с трудом пережили, а к весне стали нас с Янисом выживать. Из глубины это у них шло, не хотели больше терпеть меня, и поняла я, что кончается наша жизнь в Янисовом родительском гнезде: пора уезжать.

Янис тоже всё понял, но терпел, виду не подавал, а сам списался со швейной фабрикой торжокской и получил от них уверенье, что его возьмут обратно на работу и меня возьмут. Как получил такое уверенье, так собрали мы чемодан, распрощались (сдержанно, без сантиментов, но и без



обид) и уехали в Ригу. Остановились в какой-то дешёвой гостинице (хоть у Яниса в Риге родственники жили), переночевали с клопами, а утром отправились обратно в Торжок. Приехали под Пасху, и таким нам Торжок родным показался, что мы на радостях выпили вдвоём, а потом долго миловались, наслаждаясь свободой. А через неделю пошли вместе на работу, и так хорошо нам работалось, как никогда раньше.

Но Янис, отойдя от материнского влияния, начал пить без меры, и это скоро стало видно всем. Я сначала не понимала, что происходит, и поддерживала его, думала: «Одному мужчине негоже выпивать», и – символически – поднимала с ним рюмочку. А это потом мне же и возвращалось: мол, пили вместе, чего ж укоряешь?

Когда поняла, что болен мой Дубок, – уже было поздно. Благодарна ему только, что не бил под пьяную руку. Мне никто не верил: всё синяки на теле высматривали, потому что сами с синяками вечно ходили. А Янис мой меня пальцем ни разу не тронул: ни пьяный, ни трезвый. Это я его, бывало, обихаживала, чем придётся, когда на бровях приползал, есть за мной и этот грех.

У нас в медсанчасти в это время появился новый доктор, Аркадий Семёныч Липкин. Он занимался профилактикой пьянства на производстве, и имел собственную теорию о том, как не впасть в запой. Теория его была проста: с утра только кефир или огуречный рассол. Продержаться без рюмки нужно до двух часов по полудню, а потом можно пить

дальше, сколько здоровье позволит. Если же раньше принять рюмку – на неделю можно выйти из строя.

Помню я эти недели: не одна и не две их было. Чтобы похмелье снимать, пристрастила я Дубка моего купаться перед работой, благо речка Тверца под окнами у нас протекала, и пляжик песчаный там был на два человека. Я сама сначала с Янисом ходила, но потом – вижу, что дело пошло, и стала его одного отпускать.

И вот пришёл тот страшный летний день, когда не дождалась я его с речки. Пока сообразила, что время вышло, рабочий день начался, а его нет; пока сбегала к реке, минуты-то драгоценные и утекли. Скатилась я с косогора, отвернула ивовую ветку, гляжу: лежит мой Дубок на мелководе лицом вниз, из воды только затылок русый торчит, и течение волосы трогает. Перевернула я его, а он уже неживой, холодный и неподатливый, во рту и в глазах песок. Не буду я вам ужасы рассказывать, тем более что впереди они ещё будут.

До сороковин я как с мешком на голове ходила – ни вдохнуть, ни выдохнуть, и думать ни о чём не могла – всё свою вину переживала и судьбу проклинала. Милиция меня трепала, потом отстала. Написала письмо в Кулдигу, в котором рассказала обо всём. Это письмо мне нескольких лет жизни стоило. Вину в смерти Яниса я на себя взяла и прощения просила за то, что не уберегла. Отправила письмо с неполным обратным адресом, так как боялась получить ответ. А осенью справила памятник на могилке (фабрика оплатила и памят-

ник и похороны – уважали Яниса на производстве), забрала остатки денег из комода и уехала в Ленинград. В Москву не решилась – куда мне в калашный ряд.

Осуждать меня за это нельзя. Не было у меня иного выбора: или в Тверцу за Янисом, или вон из города, куда глаза глядят. В Ленинграде мне повезло: сразу взяли домработницей в семью родной сестры известной советской балерины – примы Кировского театра. Тут, наверное, и фамилия моя нерусская свою роль сыграла, и то, что я вдовой была. И началась у меня новая жизнь.

Хозяева жили в доме, где из окон гостиной видна Петропавловская крепость, и салют по праздникам можно с дивана смотреть. Я делала всё по дому: убирала, готовила, на рынок Ситный ходила, с сыном хозяйки уроками занималась: считаешь утром его учебник, а вечером проверяешь знания этого оболтуса. Мне доверяли деньги и даже позволяли гладить вечернее платье хозяйки перед театром. А спала я в комнатке при входе, без окон – типа гардеробной, но большой. Там у меня кровать стояла, шифоньер, где я вещи свои держала, зеркало висело круглое и книжная полочка. К книгам меня тоже допускали, и те, что я читала, разрешали брать в свою комнату и ставить на полочку.

Главой семьи была Инна Сергеевна Вольская, а ещё в квартире жили её муж, сын-школьник, и отец. В семейные праздники к ним в гости приходила её великая сестра – прима-балерина Кировского балета с мужем, и разго-

вор тогда шёл сугубо о балетных материях и всегда завершался обсуждением сплетен и склок в балетной богеме. Как вы понимаете, я увлеклась балетом без меры. Сшила выходное платье и ходила по контрамаркам на балетные спектакли – это в семье очень поощрялось. Активно участвовала в группе поддержки нашей примы и громко кричала «Браво!», «Бис!», подогревая публику. Вообще, с этими криками «Браво!» – забавная история. Я сначала думала, что это обожатели из публики кричат от восторга. Оказалось, нет: это родственники и знакомые кричат. Крикнешь «Браво!» после номера своей балерины, и публика поддерживает, входя в экстаз, а потом в кулуарах обсуждают: балерину такую-то пять раз вчера вызывали. А то и в газете напишут. Смешно, когда в спектакле участвуют две известные балерины. Тогда две группы поддержки пытаются друг друга перекричать и завести публику, а потом ссоры возникают, обиды. Словом, балет вошёл в мою жизнь и оказал большое влияние на неё. Об этом я ещё расскажу.

Три года я прислуживала в доме Вольских и к концу как член семьи стала. Семейные ссоры улаживала, обиды гасила. Но не обошли и меня проблемы, главным образом, связанные с мужем Инны Сергеевны – Николаем. Он на меня глаз сразу положил, я это увидела, и Инна Сергеевна тоже увидела. Я твёрдо про себя решила и ей сказала, что никакого адюльтера не допущу (тогда я другое словечко употребила, догадайтесь, какое).

Прошло время, он продолжал за мной тайно ухаживать, и я привыкла к этому, тем более, что Николай хороший человек был: воспитанный, тактичный и умный. Ничего большего я от него не ждала и не хотела, однако он от меня – ждал и хотел. И, не дождавшись, на третьем году стал подкатывать ко мне уже всерьёз. Я противилась, сколько могла, но чувствовала, что сдаюсь, и то, что мне недавно срамом казалось, сейчас желанным оборачивается. Тем более, видела я, что и Инна Сергеевна пассиву на стороне имеет и не очень от меня скрывает.

Однако Николай ошибку совершил: решил меня силой взять. Ему бы чуть помягче, и слов хороших чуть побольше – я была бы его в тот же день. Но он не выдержал. А когда человек мягкий, добрый, пытается над женщиной насилие совершить, то это смешным видится. Я и засмеялась, отмахиваясь и больно ему делая, и, глядя на его растерянное лицо, ещё пуще смеялась. Он вспыхнул, как свечка, глаза опустил и ушёл. Инна Сергеевна всё поняла, и спросила меня: «Отдалась ему?» Я честно ответила: «Нет». А она усмехнулась, покачала головой и сказала: «Ну и зря».

И тут, как пять лет назад в доме Озолинсов, я почувствовала, что пора уходить. У меня часто в жизни такое чувство появлялось, и иногда обидно становилось до слёз: нигде не приживаюсь, отовсюду рано или поздно выгонят. Однако поплачешь, соберёшь пожитки и идёшь в новую жизнь с открытой душой, и не жалеешь потом.

Стала я после разговора с Инной Сергеевной энергичнее по сторонам смотреть и мужчин вокруг примечать. Много знатных мужчин встречалось: Ленинград всё-таки, не деревня, а взгляд остановился только на одном. Увидела я это спокойное смуглое лицо с внимательными, понимающими глазами в мороженице на Кировском проспекте. И не смогла оторваться: он видел всю меня насквозь, и понимал, и прощал заранее. А фигура его, как встал из-за столика, оказалась гибкой, стремительной, мальчишечьей. Подкупило меня сочетание мальчишечьей грации со взрослым взглядом — и подалась я к нему всей душой. И он рванулся ко мне — мой будущий второй муж Ильяс Аллахвердиев из солнечного, как принято было говорить, Азербайджана.

### 3. Ильяс – Джигит

Он был младше меня на четыре года и только недавно вернулся из армии, где служил в артиллерии. Вернувшись домой в маленький городок со странным названием Казах (Газах по местному), стал единственным в районе специалистом по борьбе с градом. У него в распоряжении были три пушки военного времени, расположенные в виноградниках, и стрелявшие специальными снарядами, которые должны были разрушать грозовые облака. Что-то не получалось у них с этим делом, и послали его на повышение квалификации в Ленинград – на курсы в артиллерийскую академию.

Ильяс в первый же день пылко сделал мне предложение, но я лишь усмехнулась и, дав себя проводить до парадной нашего престижного дома, помахала ему ручкой, как в кино. А сама полночи не спала. Утром высунула голову в окно кухни – стоит милый у парадной, с дворником ругается. Я на рынок пошла и его с собой взяла. Ильяс на своём языке договорился с продавцами, которые чуть ли не все ему земляками оказались, и принесли они мне овощи и фрукты, каких я до этого не видела. Потом мы сидели в кафе, ели шашлыки с шампуров и пили красное вино. С каждой минутой Ильяс забирался ко мне в душу всё глубже, и я всё оттягивала возвращение в дом у Петропавловской крепости, всё продлевала общение с ним. А вино тихо делало своё дело,

и скоро я почувствовала себя раскованной, осмелела и (в отместку малохольному Николаю, не справившемуся со мной, уже готовой ко всему), захотела справиться с юным узкотелым джигитом, сидевшим передо мной и пожиравшим меня взглядом.

Времени было мало, и я – сразу в омут – спросила его, где бы мы могли поцеловаться. Он засопел, засверкал белками и отчаянно закрутил головой, скользя невидящими глазами по соседним столикам и стенам. Это был мой триумф: я взяла его за руку – мы одновременно встали – и увлекла на кухню. Улыбаясь смуглым поварам, спросила, где бы нам можно было уединиться, и они, все как один, указали на дверь в конце коридора. За дверью в тёмном помещении была кровать, на которой всё и произошло. Начала я, но Ильяс быстро перехватил инициативу и показал мне, кто здесь главный. Со мной никогда такого не было, я целый день приходила в себя, а Инна Сергеевна с интересом смотрела на меня, расслабленную и счастливую.

На следующий день Ильяс снова стоял под окном, но я сказала ему: «Уйди», и он ушёл. Я смотрела ему вслед, он оглянулся, обжёг меня взглядом и исчез за стеной кочегарки. Времени на принятие решения было мало, и я рассказала свою историю Инне Сергеевне. Она выслушала, нахмурилась, потом, ни слова не говоря, встала и быстро вышла из комнаты. Я последовала за ней и от дверей в её апартаменты громким и нахальным (как мне теперь кажется) голо-



сом попросила расчёт.

– Хорошо, Алёнушка, – ответила Инна Сергеевна, стоя ко мне спиной и не обернувшись. Услышав такое обращение, я чуть не пожалела о сказанном, но уже было поздно.

Прощаясь, Инна Сергеевна сказала: «В Азербайджане тепло и сытно. Но не забывай, что ты русская. И что ты городская, образованная девушка». У меня слёзы брызнули от таких слов: меня ни до, ни после этого никто так не называл. А через неделю уехали мы с Ильясом на его родину.

Хочу сразу объяснить: я уже не маленькая была и понимала, что еду на восток, и о подчинённой роли женщины знала, и о чужой мусульманской вере, и об их вспыльчивости восточной, про которую легенды ходили. Но Ильяс сразу сказал, что у нас в семье будет равноправие, он умел брать на себя ответственность. Я ему поверила и не ошиблась. Хотя ехала, конечно, с опасением, а он успокаивал меня всю дорогу в поезде и развлекал.

Ильяс прибыл домой из Ленинграда победителем: с русской невестой и со свидетельством об окончании курсов в артиллерийской академии. Родные встретили его с восторгом и свадьбу сыграли без задержек, настоящую, кавказскую. Водрузили шатёр под чинарами, гуляли два дня и потом ещё неделю принимали запоздавших гостей. И стала я Алёной Аллахвердиевой.

Город Казах, где мы жили, – это неудавшаяся Старица (видите, никуда я от своей Старицы не делаюсь) – городом назвать

язык не поворачивался, и я его называла посёлком. Вокруг – полупустынное предгорье, и только окрестные виноградники немного скрашивали пейзаж. Говорят, до революции в городе стоял пограничный отряд казаков, отсюда и название «Казах». Смешно, но от столицы Азербайджана до Казаха была чуть ли не тысяча километров. От Еревана и то ближе, а самый близкий город был Тбилиси – два часа на автобусе. Через город протекала мелкая речка Акстафинка, не чета ни Венте, ни Волге.

Вы не бойтесь, я не буду вас забалтывать подробностями моей восточной жизни, хотя рассказать есть о чём: я ведь больше пяти лет в Азербайджане прожила, и счастлива там была. Ильяс в совхозе работал по своей мирной артиллерийской профессии, а я – дома, как настоящая восточная жена. Меня в семье Ильяса, в основном, любили и жалели. Хотя, всякое бывало, но камня не брошу – если и обижали, то за дело, я тоже не сахар была, зубки показывала. Но главное, – не было там лицемерия, как бы хорошего тона, за которым что угодно может прятаться. Поэтому мне там просто было: ругаться, так ругаться; мириться, так мириться.

Был у Ильяса старший брат, который жил отдельно – в Кировабаде: он служил сверхсрочником в лётной части. Через три года мы к нему перебрались, но это потом, а пока я с любовью в сердце и с верой в будущее осваивала премудрости жизни восточной женщины.

Первым делом в Казахе меня научили бояться змей. Глав-

ная змея там страшная: гюрза. Бывало, и в сад заползала, а уж каменистые горы – её дом родной. Больше всего от гюрзы страдали мальчишки. В доме напротив жил маленький Мамедка – лет шесть ему было. Сначала камнями в меня кидался, но потом мы подружились, и он мне туту таскал, алычу. Так вот, представьте, вчера ещё вместе играли, а на следующий день вечером его похоронили. Гюрза укусила.

– Да как же так, – говорю я соседу, его Надиром звали, – у вас что, никакой вакцины от гюрзы нет?

– Есть, – отвечает, а сам чуть не плачет, – в медпункте, но просроченная. Да и сразу нужно колоть, а мы пока спохватились, уже два часа прошло.

Я дома Ильяса спрашиваю: «Что же это такое? Что если у нас мальчик родится, а вакцина просроченная?» Он улыбнулся печально, повернулся и ушёл в сад, а до меня только потом дошла моя бестактность: у меня с Ильясом, как и с Янисом, ребёночка не получалось – не зачинали мы никого.

Родственники шептались по этому поводу, родители Ильяса молча переживали и поили меня какими-то снадобьями, да только без толку. И когда минул год нашей семейной жизни, Ильяс повёз меня в Кировабад на обследование. Весь второй наш с Ильясом год я лечилась. Вам мужчинам не понять, что может пережить женщина, мечтающая о ребёнке. Не обижайтесь, я знаю, о чём говорю.

За этот второй год я два раза лежала в больнице в Ки-

ровабаде среди таких же бездетных бедолаг. Относились ко мне плохо, хоть я этого и не заслужила, – наверное, считали неженкой. Я ведь всегда была стеснительной, да и сейчас – старуха, а всё такая же. Не сумела изжить в себе этот недостаток. А там женщины с таким бесстыдством демонстрировали своё женское начало, выпячивали плотские проблемы, с какой-то злой гордостью оголяли своё женское нутро, что меня тошнило в буквальном смысле. С трудом я это пережила, да и отлежала зря – обследовали меня всю с ног до головы, но ничего толком не объяснили: что нужно делать, чтобы ребёнок зачался. Тогда Ильяс отвёз меня в один из лучших в Союзе научных институтов по проблемам деторождения, который находился в Тбилиси. Мной там заинтересовались, предложили хорошие условия и обещали вылечить, но за это я должна была участвовать в их экспериментах. Я так жалела Ильяса, что согласилась.

В институте я провела в общей сложности три месяца. Это было уважаемое заведение, не спору. Чего я там только не насмотрелась: женщин с гусарскими усами видела, бесполой существ с визгливыми голосами наблюдала, ну и с «кроликами» подопытными такими, как я, общалась.

На мне испытывали лапароскопические методы обследования брюшной полости. Я, получается, у истоков современной медицины стояла, вот как. Эксперименты заключались в том, что меня надували разными газами так, что я как футбольный мяч становилась, а потом делали проколы. В один

из таких проколов и обнаружили причину моих бед, и сказали: «Нужна настоящая операция. Вот закончим эксперименты и сделаем».

Не соврали, прооперировали под общим наркозом, я ещё две недели дома отходила, а потом – снова за домашнее хозяйство. Ну, а мы с Ильясом зажили душа в душу и стали ждать, когда у нас ребёночек зачнётся.

По воскресеньям нас отпускали вдвоём отдохнуть, и мы уезжали за город в местечко, которое окрестили раем. Я другого такого чистого и светлого места на свете не встречала. Представьте себе излучину горной речки, луг с мягкой стелящейся травой, остающейся свежей в самое засушливое лето, вековые раскидистые чинары. На другом берегу речки – пятиметровая каменная скала, из трещин которой водопадами изливается родниковая вода. Змей там нет, зато есть черепахи: водяные и сухопутные. Водяные черепахи греются на плоских камнях, и, когда к ним подходишь, как лягушки все разом прыгают в воду. Сухопутные черепахи пасутся на лугу и возвышаются над травой крутыми панцирями величиной с баскетбольный мяч. На них можно облокотиться или посушить на панцире купальник. Нельзя только их сдвигать или переворачивать: такой запах раздастся – убежишь, не оглядываясь. Ещё там поют волшебными голосами птицы и летают огромные жёлтые бабочки. Словом, рай. Ильяс в детстве открыл это место – всего в нескольких километрах вверх по Акстафинке – и держал его в секрете от всех. Мне

единственной секрет раскрыл.

Так вот, прошло лето – у нас без изменений. Ильяс возил меня в Тбилиси лечиться грязями – опять ничего. Я почувствовала, что отношение Ильясовых родителей ко мне стало меняться: на меня всё больше смотрели как на бракованную вещь. Я не выдержала и сказала Ильяссу, что уйду, освобождаю место для другой, которая родит ему сына. Он вспылил и заявил, что не хочет сына, а хочет быть со мной.

Тут я поняла, что не только он за меня, но и я за него в ответе. Я уже потеряла одного мужа и не хотела потерять второго.

– Что, жизнь ничему не научила? – спрашивала я себя. И с ужасом осознала, что, кажется, нет.

В это время в Москве сняли Хрущёва, пришёл к власти Брежнев, и у нас в Казахе всё стало меняться: сменили городских руководителей, прокурора. Сняли председателя нашего совхоза. На рынке появились новые лица среди мафиози местных. Даже в чайхане через улицу сменился хозяин. Для нашей семьи эти изменения оказались неблагоприятными: родители Ильяса постепенно утрачивали влияние в городе, а сам Ильяс потерял работу в совхозе.

Я чувствовала, что мой муж оказался в очень уязвимом положении, и пыталась его защитить. Мы как бы стояли спиной к спине в готовности отражать удары судьбы.

Но судьба в тот момент оказалась благосклонной к нам. Из Баку поступило распоряжение развивать туристские свя-

зи с другими республиками, особенно с Россией. В Кировабаде – в самом центре города – открылось экскурсионное бюро, и стали устраиваться туда по блату то сын милицейского начальника, то внук народного поэта, да только русский язык они плохо знали, и в России никто их них не был. Поэтому, когда Ильяс, разузнав обо всём через своего брата-военного, приехал в Кировабад на собеседование, его взяли, не задумываясь. «Блатные» только руками развели, но зло затаили. Ведь работа в турбюро означала уважение, а в будущем – деньги, связи. Это был выход из положения для нашей семьи, и мы с Ильясом уехали в Кировабад.

У меня неоднозначное отношение к Кировабаду. Сначала город мне очень нравился – красивый, многонациональный, со своим достоинством, как Ленинград. И улицы широкие, распланированные. Но потом такие горькие моменты случились в моей жизни – именно в этом городе – что не знаю, как к нему теперь относиться. Да и вообще к Кавказу. Это сложный и очень личный вопрос.

Поселились мы в коммунальном дворе на азербайджанской стороне реки (на другой стороне жили, в основном, армяне), где у Ильясова брата жены осталась комната с кухонькой: сами-то они в гарнизоне жили. Мне тогда казалось, что у нас в СССР победила дружба народов. В коммунальном дворе жили азербайджанцы, турки, украинцы, русские и даже одна армянская семья Мартиросянов. Я в своём дворе как за каменной стеной себя ощущала. И настороженность

моя природная как будто прошла, и помогать соседям я первая бросалась, и мужа моего Ильясa не стеснялась обнимать, и себя уважала.

Ильяс на работу стал ходить, сначала один, а потом и меня брал помогать. Мы ездили по санаториям, домам отдыха и готовили материал для брошюры «Курорты Западного Азербайджана». Не знаю, уж, напечатали её или нет, но зимой к нам приехала первая группа отдыхающих из Москвы. Мы этим первым нашим гостям всю душу отдали – как детям своим не родившимся – и они очень довольны остались приёмом.

В Кировабаде мы близко сошлись с братом Ильясa Рустамом. Он служил в части, которая обслуживала военный аэродром, мы через него стали бывать в офицерских компаниях, на вечерниках, и я впервые увидела, как живут военные. На меня это произвело впечатление. Во-первых, у них была в жизни цель – не смейтесь – Родину защищать. Не знаю, как у других, но про лётчиков Кировабадской лётной части это я точно знаю. Вся жизнь офицерских семей крутилась вокруг полётов, самолётов, боевых дежурств, лётных происшествий, переучивания на новую технику – я сама всё это наблюдала. И жены, и дети офицерские понимали свою миссию и несли свой крест. Мне сначала даже завидно было – знают люди, за что страдают, и гордятся этим, и уважением пользуются. А я? За что я страдаю? Потом поняла: моя миссия – любить. Это то, что я лучше всех умею.



И успокоилась.

Была у военных и тёмная сторона жизни. Прежде всего, все они, как один, мечтали уехать из Кировабада, и это было предметом сплетен, подсиживаний, ссор и постоянных переживаний. Потом, они много пили: в основном, коньяк, ворованный с Шамхорского завода, который покупали у азербайджанцев трёхлитровыми банками. В Казахе тоже этот коньяк покупали, и даже на свадьбе моей этот коньяк пили. Не знаю, разливал ли Шамхорский завод что-нибудь в бутылки, так как было такое впечатление, что весь Азербайджан пьёт Шамхорский коньяк в розлив. И, наконец, в военном гарнизоне процветало блядство, другого слова, извините, не подберу. Я тоже не девочка была, но чтобы так!

И всё-таки я себя хорошо с военными чувствовала – было в их отношениях что-то простое и здоровое, чего мне иногда не хватало. Я у них жизненных сил набиралась.

Так прожили мы почти два года. Я Ильясу по работе помогала, и не было для меня большего счастья, чем работать вместе с мужем. Я это счастье ещё с Янисом узнала.

Однако у меня никогда так не бывало, чтобы долго всё хорошо. Или нет, бывало, но уже в следующей жизни. А пока случилось горе, из-за которого я Кировабад и Кавказ любить не могу. Скажу, как есть: меня изнасиловали в посадках прямо за нашим домом. Много их было, а я так испугалась, что противопоставить ничего не смогла. Пришла домой после этого измазанная, в изорванном халате, а на ду-

ше сплошной пофигизм, хоть танцуй, – шок, значит. Только когда воды согрела и мыться начала, дошло до меня, что со мной сделали.

Я боялась, что Ильяс кинжал схватит и убьёт меня (не противилась бы – заслужила), или, не дай Бог, – себя, или в ярости бросится искать обидчиков. А он только побледнел, погладил меня, как убогую, по волосам и тихо вышел из комнаты. На следующий день он не вернулся вечером с работы, и не было его три дня. Я не искала – ждала.

Когда Ильяс появился на пороге уже после полуночи, я поднялась с протёртого плюшевого кресла, на котором сидела и спала все эти три дня и три ночи, подошла к нему и встала в ожидании. Я ждала, что он меня убьёт, побьёт, поцелует, погладит, ждала всего, чего угодно, но только не того, что сделал. А он упал на колени, схватил меня за обе руки и стал просить прощения, путая русские и азербайджанские слова. Я испугалась, заставила его подняться, шепча ему в ухо: «Не надо, не надо, ведь ты мужчина».

Он больно сжал мне руки и прошептал в ответ: «Я всё сделал, что должен сделать мужчина. Ты должна знать: всё!».

Он мог бы этого не говорить, потому что на следующее утро, когда Ильяс ещё спал, а я кипятила воду для мытья, меня знаками через окошко позвал сосед – старый Наилька – и, пряча глаза, сказал, что со мной хотят поговорить. Я вышла на улицу и тут же почувствовала себя сжатой с двух сторон сильными руками, которые втолкнули меня в откры-

тую дверь стоявшего напротив арки автомобиля. Я оказалась на заднем сиденье машины между двумя парнями, и ко мне обратился пожилой мужчина, сидевший спереди и куривший душистые сигареты.

– Мы знаем, что произошло, – сказал он, не оборачиваясь, – и готовы были наказать твоих обидчиков. Серьёзно наказали бы, потому что русских мы уважаем и не трогаем. Но твой муж сотворил самосуд. Ему «вышка» полагается по закону. Однако мы убивать его не будем, обещаю. Уезжай и забудь про него. Билеты тебе сделаем, куда ты скажешь, денег дадим.

– Я хочу поговорить с мужем, – ответила я, пытаюсь протянуть время.

– Нет, – резко произнёс он и что-то крикнул по-азербайджански в открытое окно автомобиля. Со скамейки у входа поднялся парень и пошёл через арку во двор. Через секунду он появился снова, но уже с перекошенным лицом, а за ним ещё двое, которые волоком, как барана, тащили за собой старого Наильку.

– Ушёл, – нервно махнув рукой, крикнул парень и быстро заговорил по-азербайджански, показывая пальцем на Наильку и разрывая гладкую азербайджанскую речь колючими матерными словами.

– Давай его сюда, – скомандовал тот, кто сидел на переднем сидении.

Наильку подвели к машине и наклонили ему голову так,

что он будто бы заглядывал в салон. Мужчина высунул руку и взял его за ворот рубашки.

– Найдёшь Аллахвердиева и скажешь, что, если к утру не придёт, мы его жену через строй начнём пропускать, – сказал он, чтобы я тоже слышала. – Сколько дней его не будет, столько и будем пропускать.

– Он.... Он у военных, – отвернув лицо и сплюнув кровью, прохрипел Наилька. – Отпустите русскую, не начинайте ссору. Я скажу ему, он придёт...

В это время из-за дома послышался нарастающий гул и на перекрёсток выехал бронетранспортер. Он, качнувшись, замер на секунду, потом издал рык, выплюнул чёрную струю дыма и стал медленно поворачивать в нашу сторону. Из него выпрыгнули двое военных в полевой форме с автоматами. Один из них обежал наш автомобиль и встал сзади, а другой – в звании капитана – подошёл к водительской двери.

– Ассалам алейкум, – сказал он, заглянув в салон и встретившись со мной глазами. – Отпустите девушку и езжайте по своим делам. Мы вас не видели, а вы нас.

– Здравия желаем, товарищ капитан. Мы выпустим девушку, а вы отдайте нам Аллахвердиева. Он нарушил закон и должен быть наказан.

– Торговаться не будем, выпускайте, – повысив голос, повторил капитан.

– Зачем так, дорогой? Мы вам верим, но, всё-таки, сначала

ла Аллахвердиев, а потом девушка.

Капитан выпрямился и достал сигареты. Мне показалось, что он засомневался, нужно ли нагнетать обстановку дальше. В это время из-за дома выскочил защитного цвета УАЗик и, вздымая пыль, по обочине подкатил к нашей машине. Из него вышли несколько военных званиями постарше, и мне вдруг стало так спокойно, что я чуть не заснула, сидя между двумя амбалами. Очнулась уже в УАЗе от страшного мата.

– Оборзели мамеды! – кричал офицер, сидевший рядом с водителем. – Мы нафиг Гусейнову землю давали? Чтобы он со своей гвардией наших девок насиловал? Именье себе построил, коммунист фигов! Да я танком проедусь по его особняку, ракету не пожалею... Борзота...

В тот же день меня привели к командиру части, и он сказал:

– Уезжать вам надо отсюда, дело это добром не кончится. Я сейчас с ними договорился, но пройдет месяц, и они какую-нибудь пакость сделают: в горы увезут и там убьют, например. В общем, так: завтра от нас борт летит в Москву. Я вас посажу на него, и с Богом.

– Нельзя Ильясу уезжать, – объясняю, – у него родственники здесь, родители в Казахе. Что с ними будет?

– Ничего с ними не будет, кровной мести здесь нет. А вот ему исчезнуть надо, и тебе тоже. Смотрите, я с вами возиться не буду: раз предложил и всё.

Вечером на военном УАЗе мы приехали в наш коммунальный двор. Соседи смотрели на нас с сочувствием, а Наилька не вышел прощаться. Мы забрали документы, кое-какие вещи и уехали навсегда. Честно говоря, это было похоже на бегство. Было в этом что-то неприятное. А Ильяс как переживал! Пять лет назад он приехал сюда с победой, с русской невестой, а теперь сбегал как преступник под покровом ночи на военном самолёте.

Национальная кровь у него сильно взыграла, долго успокоиться не мог. А когда успокоился, мне стало ясно, что у него ничего не осталось: ни родины, ни близких, ни даже гордости национальной: только я. А кто такая я? Опозоренная, без дома, без близких и тоже без гордости национальной. Это я потом поняла, что любовь убивает национальную гордость. За это её и не прощают. И остаются влюблённые одни друг с другом, и защищают они друг друга и себя всю жизнь от обид и скверны всякой, которую на них всякий готов свалить. И терпят вместе, и радуются вместе. Но любовь и силы даёт жизненные, так что то на то и получается.

Долетели мы до военного аэропорта «Чкаловский» под Москвой, там нас продержали сутки на гауптвахте вместе с двумя солдатами: выясняли, кто да что, а потом отпустили. На улице холодно: ноябрь, поэтому первым делом Ильяс меня в магазин повёл, как сейчас помню, на главной улице в Мытищах, и купил пальто, сапоги модные – всё из под прилавка, перчатки и ещё много чего. А себе – кожаную куртку

с рук и шапочку вязаную, чёрную, которую натягивал до бровей, и сразу становился похожим на какого-то утрированного рыночного кавказца из «Крокодила». Я не выдержала и сказала ему об этом. Он, знаете, что мне ответил: «Хочешь, чтобы я кепку купил, да?» И мы захохотали, распугивая прохожих. Потом я подарила ему пыжиковую шапку.

В Москве пробыли недолго. Ильяс сходил к землякам в диаспору, но те его, видно, не приняли, потому что больше с кавказцами он в Москве не встречался. Зато встретился с туристами, которые к нам в Кировабад приезжали, и один дядька (он какой-то шишкой оказался) дал нам рекомендательное письмо в Ленинград в Центральное бюро путешествий и экскурсий на улице Желябова – по-моему, оно ещё и сейчас работает. Так я через пять лет снова оказалась в городе на Неве. И Ильяс тоже.

Вы, наверное, замечали, что люди в чужих краях, как бы «линяют», теряют свою природную красоту. Кавказцы ленинградские, что на рынке торгуют, или таджики, да приезжие любой национальности – как жалко на них смотреть, да? А ведь в Таджикистане или Азербайджане у них дом, семья, дети. И там они – хозяева, отцы, мужья, джигиты – уважаемые люди. Чем несуразнее приезжий смотрится у нас, тем гармоничнее он у себя дома. Это не касается людей в пиджаках – начальники везде одинаковы. Так вот, мой Ильяс поначалу чувствовал себя в Ленинграде потерянным и выглядел совсем не таким бодрым, каким он был, когда мы познако-

мились. Я его, как могла, поддерживала и в обиду не давала, а то наша советская милиция большой интерес к таким, как он, проявляла, смею думать, что не бескорыстный. Только через полгода Ильяс вернул себе уверенность, а уверенного в себе человека какой милиционер посмеет остановить?

Несколько раз я приходила к дому у Петропавловской крепости, садилась на скамеечку во дворе и ждала, вдруг кого встречу из прошлой жизни. Не встретила. Сходила в Кировский театр на спектакль с участием нашей примы. Хлопали в основном уже другой – молодой и модной балерине. Но я всё-таки крикнула «Бис!» и «Браво!», заставив публику обратить внимание и на нашу.

Всё это, однако, осталось в прошлом, и ворошить его мне уже не хотелось.

По протекции нашего благодетеля из Москвы Ильяс благополучно устроился работать в Бюро путешествий и экскурсий, потом и меня пристроил, а через год мы получили комнату в чёрном дворе там же, на улице Желябова. Позже, когда Ильяс стал работать в санатории, мы удачно обменяли эту комнату на двухкомнатную «распашонку» в Сестрорецке.

Вы поверите, что я скучала по Азербайджану? А вот скучала. Мне снились жёлтые россыпи хурмы на голых ветках и рубиновые гранаты в снегу. А ещё как мы ночью арбузы с рынка катали – они по ночам копейку за килограмм стоили. Почему-то мама Ильяса часто снилась – с благородным



восточным лицом и проницательными, как у сына, глазами.

Мы прожили вместе в Ленинграде больше пяти лет, и Ильяс за это время ни разу не съездил в Казах повидать родителей или в Кировабад встретиться с братом. Не из страха, а от своей оторванности и, может быть, из чувства вины перед ними. Я его очень жалела. Но позже, когда мы уже расстались и начался конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха, Ильяс не выдержал и уехал «защитать родину», – так он сказал и так ему показалось правильным. Мы с Борей отговаривали его, объясняли, что это провокация, что нас подбивают, чтобы свои своих били, но куда там. Газеты писали, что в Казахе идут танковые сражения – граница-то с Арменией всего в трёх километрах. Так что не стал он нас слушать, и я его понимаю. Обидно только было: ведь мы в Армению с Ильясом отдыхать ездили чуть не каждую неделю, и армянский городок Иджеван, что в горах в полчаса езды от Казаха, был мне как родной.

Интересно, что, будь я его женой, я бы его поддержала и благословила, а то и с ним бы поехала. А как расстались – отговаривать начала – такая вот жизнь противоречивая. Он пробыл на родине несколько месяцев, примирился с родными и, вернувшись, рассказал, что в Казахе действительно обстановка была тревожная, но до войны дело, слава Богу, не дошло.

Возвращаясь к моему хронологическому рассказу. Наступил 1973 год – год, в котором я предала Ильяса. И день пом-

ню точно: 7 июня – день, когда в мою жизнь вошёл другой мужчина: Борис Маркович Файнберг. Вы его видели сегодня.

## 4. Борис – Король

Случилось это так. В то лето в Москве открывался второй международный конкурс балета. А я, как вы помните, от балета сама не своя была. Мы с Ильясом в Москву каждый год ездили, иногда и не по разу. Останавливались всегда в семье Вали Воронцовой – туристки нашей первой кировобадской. У неё дети – Саша и Маша – уже выросли, и мы – бездетные – могли общаться с Валею и мужем её Володей на равных. Так вот, собралась я с духом и подкатила к Ильяс-у с просьбой: поедem, мол, в Москву на балетный конкурс. Ильяс балет только из-за меня терпел, но уважал во мне эту страсть. Наверное, поэтому, пораздумав, сказал (а его слово я всегда как приказ воспринимала): «Поезжай одна. Воронцовым заодно пластинки завезёшь». Ильяс в то время дружил с фарцовщиками и доставал через них модные диски. У нас в доме чуть ли не у первых появился двойной диск «Иисус Христос – суперзвезда», которым он страшно гордился и всем показывал. Любил он, как не странно, Вертинского и слушал песню «Доченьки», когда меня дома не было. Я слушать не могла, реветь начинала. Он тоже, может быть, не знаю.

Словом, приехала я в Москву и в день открытия конкурса встала на выходе из метро лишние билетки просить. Таких дурочек наивных рядом стояло ещё с десятков, но ничего нам

не обломилось.

Хочу сказать, что, хоть мне к тому времени уже далеко за тридцать было, я красивая была, стройная (не рожала же), лёгкая на ногу, и мужики ко мне клеились, но я все притязания легко отметала: Ильяса любила. Хотя, наверное, что-то у нас с ним уже не так было, иначе с чего я на Бориса Марковича-то так запала? Если честно, трудно было не запасть. Сейчас поймёте.

Он подошёл ко мне у колонн Большого театра, куда я переместилась в последней надежде проникнуть на открытие балетного конкурса, – статный, уверенный в себе, с гривой седеющих волос, зачёсанных назад. Всё на нём было супер: светлый пиджак с подбитыми плечами, галстук – чуть вызывающий для его возраста, бежевые ботинки, часы дорогие циферблатом на запястье, как тогда модно было. Но, главное, взгляд – умный и как бы поощрительно подбадривающий. А глаза смотрели так, как будто он вот-вот засмеётся.

Представили моего Борю? Это не то, что сейчас. У него и прозвище-то детское было: «Король», потому что он в школьном спектакле удачно короля сыграл. А потом хорошо в эту роль вжился.

Так вот, представьте мое состояние: подошёл этакий импозантный мужчина и достал из кармана два синих билета, на которых красовалась эмблема конкурса балета. Представили? Тогда вы меня не осудите.

Эта интонация Борина, этот такт, который я не сразу

и оценила, эта непоказная заинтересованность тобой, сопереживание, умение и желание похвалить, поддержать, щедрость, наконец. Всё это он раскрыл во всей красе при первой же нашей встрече. Я не помню, кто выступал на открытии конкурса, и что там вообще было. У меня было просто ощущение праздника. Потом Боря пригласил меня в ресторан, и я не отказалась. Мы слушали джазовый квартет с замечательным саксофонистом, который играл по Бориному заказу, стоя прямо у нашего столика.

Вернулась к Воронцовым уже ночью в чёрном такси, и вид у меня был такой, что всё всем стало ясно. Самое интересное, что Валя с Володей меня не осудили, а даже как бы поддержали. Но я себя предательницей чувствовала, да только не долго: до следующей встречи с Борисом. Он приехал за мной на «Жигулях» третьей модели цвета «Шоколадница» – вы, наверное, не застали, но, кто помнит те времена, тот оценит. Я всё пыталась угадать, кто же он: профессор? режиссёр? адвокат? работает в министерстве? Спросить боялась, но перед моим отъездом он сам поднял эту тему: сначала сказал, что работает в торговле, а потом признался, что – директором магазина. Увидев разочарование у меня на лице, не удивился, а лишь уточнил: директором одного из первых в Москве универсамов. И стал рассказывать про торговлю – да так интересно и убедительно, что мне его работа важнее министерской и интереснее режиссёрской показалась. Про меня тактично не спрашивал, а я молчала, молчала, а потом

и выложила ему всё про свою жизнь: и что замужем второй раз, и что Аллахвердиева, и что бездетная. Думала – разочаровывать, так сразу и до конца.

Но он, как обычно, не удивился ничему и говорит:

– Я знаю несколько бездетных семей, и они живут очень полноценной жизнью: путешествуют, увлекаются искусством, политикой, у них широкий круг друзей. А можно из детского дома взять ребёнка, вы кого бы хотели: мальчика или девочку?

Заметив моё смятение, взглянул на меня ободряюще, взял за руку и сказал (наизусть помню, хоть столько лет прошло): «Я вас, Алёна, с первого взгляда полюбил и руки вашей просить буду».

Мудро сделал паузу, чтобы дать мне опомниться, и дальше: «Я знаю, что вас огорошил, я и сам не в себе. Словом, вы подумайте, а я в Ленинград на неделе приеду, и вы скажете своё решение». Я чуть было не брякнула: «А чего думать-то? Согласна!», но, хоть и с трудом, а придержала себя за язык.

– Хорошо, – говорю, пытаюсь сдержать сердцебиение, – я ценю вашу честность и прямоту.

– Это потому, что я уже принял решение.

– А если я откажусь? – спрашиваю, а сама смеюсь от несуразности вопроса, и он со мной смеётся. Только потом во мне ёкнуло запоздало: «Я ведь сейчас предаю любимого человека».

Как вы понимаете, вернулась я к Ильясу в Ленинград уже

другой. Со странным ощущением, что детство и девичество прошло, и начинается взрослая женская жизнь. Смешно, да? Почти в сороковник, после двух замужеств?

Ильяс внешне никак не отреагировал на моё перевоплощение, хотя (как он потом мне сказал) понял всё сразу. Разговор у нас зашёл лишь через неделю, когда Борис мне позвонил. Положив трубку, я с деланно равнодушным видом села смотреть телевизор, а Ильяс подошёл и прямо спросил, как выстрелил: «У тебя в Москве мужчина?»

У меня всё сжалось внутри, но я была готова к этому вопросу и уже через секунду почувствовала освобождение, встала с дивана, глянула Ильясу в глаза и ответила быстро, без пауз: «Да, Ильяс. Это правда, я полюбила другого. Прости!»

Ильяс заметался глазами и бросил отрывисто: «Он русский, да?»

– Еврей, – ответила я.

– Один чёрт, – пробормотал он и выбежал из комнаты. Я не побежала за ним, и именно это потрясло Ильяса больше всего и знаменовало конец нашей совместной жизни. Потом Ильяс мне признался, что он думал убить меня и убил бы, может быть, но его всякий раз останавливал мой взгляд – новый для него взгляд свободной женщины.

В августе, когда страсти улеглись, Борис приехал в Ленинград на машине и забрал меня в Москву. Перед отъездом Ильяс попросил, чтобы я познакомила его с моим но-

вым мужчиной, и я не смогла и не захотела ему отказать. Боря сначала струхнул: кавказец всё-таки, а ну как «зарэжет» или что-нибудь такое, но я настояла. Встреча произошла в ресторане «Невский», я, как могла, сдерживала их, да они и сами вели себя как настоящие мужчины. Не выдержали только, когда пришло время платить: каждый тряс мощной, распугивая собравшихся на запах денег официантов с зализанными волосами и наглыми глазами. Я в тот вечер окончательно распрощалась с прошлым и открылась будущему. А в октябре мы с Борисом поженились. На мне было короткое до «нельзя» белое платье и фата до плеч. И стала я Алёной Файнберг.

У Бориса была просторная квартира в «сталинском» доме на Садово-Спасской и дача в Малаховке. Родители его отца жили в Бельцах и подались в Москву, спасаясь от голода в 20-е годы. Но в столицу их не пустили, и осели они в ближнем Подмосковье – в Малаховке, как и многие их сородичи. Помню еврейский анекдот, который Боря любил рассказывать: «Почему американцы не бомбят Москву? Боятся задеть Малаховку».

Вообще, я еврейские тонкости и проблемы сначала не понимала, а Боря не очень меня в них и посвящал. Родители у него умерли давно, а родственники эмигрировали: кто в Израиль, кто в Америку. Это происходило уже на моих глазах, так как, когда мы познакомились и поженились, как раз началась эмиграция евреев, и это всех очень волновало



и широко обсуждалось. Боря эмигрировать не захотел, и мне это показалось естественным и правильным решением. Но, если бы я знала тогда, как на него давили, как трудно ему далось это решение! Оставшись, он потом тяготился встречами с родными, и я понимала, что несу часть вины за это. Я с каждым из трёх своих мужей чувствовала эту свою вину, и сейчас чувствую – в тройном размере.

А жили мы с Борей хорошо. Он в жизни не таким лощёным оказался, и мне это нравилось.

Изысканность его манер заканчивалась с выходом из ресторана или из гостей. Дома – зимой и летом – он ходил в шортах и потёртой футболке, за столом не пользовался ножом, мог пить суп прямо из тарелки, а шпроты доставать вилкой прямо из-под полуоткрытой крышки консервной банки с торчащими зазубринами.

Я заметила, что Борис не во всём разбирается хорошо, но не ленится учиться. Самый яркий пример: он ведь не знал и не любил балет, до того, как мы познакомились. И билеты в Большой Боря достал одному ему ведомым способом, только когда увидел меня стоящей у метро. Достоинство настоящего мужчины, правда?

Больше всего Боря любил путешествовать и меня к этому делу приистрастил. До перестройки мы с ним объездили весь Союз от Соловков до Узбекистана. Заезжали на машине и в Азербайджан, где я показала Боре наш дом в Казахе и наш двор в Кировабаде.

Из каждого города, который мы посещали, Боря привозил сувенирный ключ, которые по тогдашней моде в избытке выпускали для туристов местные предприятия. А после перестройки стал собирать сувенирные тарелки. Мы тогда уже жили в Малаховке, и все стены нашего старого деревянного дома были увешаны этими тарелочками.

Больше всего я ему благодарна за то, что он помирил меня с мамой, и мы с ней хорошо общались вплоть до её смерти. Ездили мы и в Зарубино, я Боре фундамент нашего дома показывала и от участия его и интереса к моей жизни, не выдерживала и каждый раз плакала ему в плечо.

После того, как мы похоронили мою маму, я, копаясь на чердаке нашего Старицкого дома, нашла старую балалайку без струн, и Боря взялся её восстановить. Нашёл мастеров, но те, поглядев, сказали, что инструмент простенький, копеечный, и восстанавливать его значит даром потратить его (Борины) деньги и их (мастеров) время. Боря обиделся и пошёл в другую мастерскую, где ему за неделю восстановили инструмент, обновив и лакировку, от чего тот получился совсем глухим по звуку и аляповатым по виду – как довоенная деревянная игрушка. Борис два дня бряцал по неподатливым струнам, натёр мозоли на пальцах и, в конце концов, повесил балалайку на стену, добавив нашему дому ещё капельку столь любимого им русского колорита.

С балалайками связан один неприятный эпизод в моей жизни. Пошли мы в гости к Бориным давнишним прияте-

лям, и так получилось, что я никого в той компании не знала. В числе гостей оказались два известных балалаечника – молодые парни, которых звали, кажется, Роман и Аркадий, – весьма популярные в то время среди московской богемы. После трёх выпитых рюмок они согласились исполнить несколько номеров из своего репертуара.

Я в компании оказалась единственной русской, а Боря ещё и подчеркнул это в тосте (он любил хвалиться, что я русская, а я ему всегда подыгрывала), рассказав заодно о счастливом обретении и последующем восстановлении нашей семейной балалайки. Словом, на меня смотрели как на главного ценителя балалаечной музыки – аборигена, который впитал любовь к этому инструменту с молоком матери, и моё слово должно было быть последним, а вердикт окончательным.

Ребята расчехлили инструменты (не чета нашему – тонкой ручной работы с благородными трещинками на лаковом покрытии), сели полулицом друг к другу на специально принесённые табуретки, взлохматили себе волосы, потом замерли на секунду, медленно подняли друг на друга глаза, улыбнулись в два рта, залихватски тряхнули губами, да как вдарят по струнам! Я просто обомлела от неожиданности и восторга: никогда не слышала, чтобы кто-нибудь извлекал такие звуки из нашего простецкого инструмента.

Играя, Роман и Аркадий ещё успевали демонстрировать русский колорит, как они его понимали: улыбались в тридцать два зуба, подмигивали друг другу и зрителям, под-

прыгивали на табуреточках, молодецки откидывались назад, прикрывая глаза, притоптывали ногами и так далее. И при этом пальцы у них веером ходили по струнам. Исполнив несколько народных вещей, перешли к современной музыке – мелодиям «Битлз», «Песняров» и других модных ансамблей.

Парни играли очень профессионально, но впечатление у меня осталось как от циркового номера: мастерство потрясло, а душу не затронуло. Как хор Пятницкого – поют, вроде, русскую музыку, голоса – заслушаешься, а не забирает.

Словом, мне не понравилось – я себя почувствовала обманутой. Ребят обижать не хотелось, и, когда все хвалебные слова в их адрес были произнесены, и гости посмотрели на меня, ожидая последнего слова аборигена, я сказала: «В-в-виртуозно!» – и, чтобы закруглить тему, добавила, подняв бокал: «Чи-и-з».

Гости зашумели радостно и с криками «Чи-и-з» стали чокаяться, чем придётся и с кем придётся. Я уже решила, что моё выступление на сегодня закончилось, и хотела отойти в тень, спрятавшись под крыло к Боре, но не тут-то было. Не давала всем покоя балалаечная тема: стали пословицами про балалайку выражаться.

Один говорит:

– Наш брат Исайка – без струн балалайка. – Все радостно: «А-а-а!»

В ответ:

– На словах – что на гусях, на деле – что на балалайке. –

Все снова: «А-а-а!»

Следующий:

– Вывернулся, как Мартын, с чем? Правильно: с балалайкой.

Дошла очередь до меня, и все отвели глаза: с аборигена ведь взять нечего – он говорит, что дышит, а крупички золота из его речи другие выбирают да в пословицы собирают. Хозяин вечера уже привстал, чтобы сгладить неловкость и прийти мне на помощь.

А я и так мрачная сидела, – не нравилось мне это всеобщее ерничанье, – но тут на меня совсем затмение нашло. Вскочила и выдала им, как мать моя говорила:

– Только дурак двор продаст, да балалайку купит!

Раздался оглушительный смех, который длился долго, и в дебрях этого смеха зародилась идея выпить за меня. Боря взял бутылку шампанского и хотел наполнить мой бокал, но я отвела его руку и сказала: «За себя – только водку».

Тамада Алексей встал и поднял руку: «Тогда всем водку».

Женщины запротестовали, и им сделали послабление, но я всё-таки выпила с мужчинами и потом ещё раз. Дальше произошёл позор, который вспоминать стыдно. А мать, если б такое увидела, зашибла бы меня на месте, не дожидаясь конца представления.

Я захмелела, встала, привлекая к себе всеобщее внима-

ние, и громким голосом поинтересовалась, есть ли среди них хоть один коренной москвич.

Уже сам вопрос был поставлен обидно, но большинство присутствовавших добросовестно подняли руки. И я предложила им пари: с любым настоящим москвичом по их выбору я буду пить по очереди рюмку водки, и перед каждой рюмкой провозглашать тост: «Ну, Москва! Ну, столица!». Если последнюю рюмку выпиваю я – то забираю балалайку – одну из тех двух, на которых сегодня играли, а если не я – то отдаю свою балалайку – семейную, так сказать, реликвию.

Народ за столом зашумел, послышались слова: цирк, балаган и так далее. Но нашёлся среди гостей настоящий, в кавычках, москвич по имени Гриша, который, принял вызов: наверное, решил меня проучить, или мужа моего: Боря тоже чувствовал себя в той компании не своей тарелке.

– Только не здесь, – сказала хозяйка дома. – Пусть идут на кухню.

Гриша взял со стола початую бутылку «Пшеничной», две рюмки, и посмотрел на меня.

– Не дури, Григорий, – обратился к нему один из балалаечников, – зачем обманывать человека. Мы своих балалаек не отдадим.

– И не потребуется, – сверля меня взглядом, ответил Григорий. – В крайнем случае, я сам куплю ей балалайку.

– Нужны секунданты, – сказала я.

– Обойдётся, – ответила хозяйка.

Мы ушли на кухню вдвоём. Боря двинулся, было, за нами, но я остановила его в дверях. Итак, мы с Гришей встали у кухонного стола, я налила себе полную рюмку водки, весело поглядела ему в глаза и произнесла торжественным голосом «Ну, Москва! Ну, столица!» И залпом выпила.

Он без энтузиазма налил себе, хриплым голосом произнёс слова и тоже влил в себя водку.

– С выражением, Гриша, – по-матерински попросила я, поощрительно улыбнувшись.

У него во взгляде читалась ненависть.

За дверью в комнате была полная тишина. После второго захода заглянула хозяйка и истерично крикнула: «Да ну вас в жопу! Наблюёте потом – сами убирать будете».

Только она исчезла, как на кухню вбежал мой Борис. Я уже налила свою третью рюмку и начала говорить тост: «Ну, Москва...», но, увидев Боря, разом расслабилась, у меня в глазах потемнело, и последнее, что я запомнила – это звон стекла и шум голосов.

Проснулась дома в своей постели. Рядом на одеяле лежит Борис, задумчиво глядит в потолок и гладит мне запястье.

– А ты им понравилась, – улыбающимся голосом произнёс он, заметив, что я не сплю.

– Тихо-тихо, – он перехватил моё решительное движение и спеленал меня руками, не давая вскочить с постели. – Смотри!

Боря откинулся назад и вытащил из-под кровати большую

коробку, внутри которой в ворохе бумаг лежала балалайка – такая же, как у вчерашних исполнителей, только новая.

– Это тебе подарок от меня, Ромы и Аркаши.

– Ещё не хватало, – вскричала я, морщась от приступа головной боли. – Срам! Они все над тобой смеялись! Я ведь нас с тобой защищала!

– Защитница ты моя. Никто надо мной не смеялся. Они просто нам завидовали.

– Боря?

– А?

– Почему ты не женился на вашей девушке?

– А ты?

– Я с самого начала была такая... нестандартная.

– И я с самого начала.

– Мечтал жениться на русской?

– Не на русской – на тебе. Ты что, за еврея замуж выходила? А я думал, за Бориса Марковича Файнберга. Нет?

– Да.

– Хочешь, честно? Я боюсь еврейских женщин. Они по натуре – воительницы. А я – человек тихий, сентиментальный. Мне с ними не справиться.

– А со мной?

– Ты – не воительница, ты – смыслоносительница. С тобой всё, что я делаю, обретает смысл. Причём, у тебя это само собой получается, ты об этом даже не думаешь.

– Абориген, словом, – сказала я. – Что вижу, то пою.



– Что?

– Да так. Это, Боря, не с рождением ко мне пришло, – ответила я ему. – Эта школа дорогой для меня оказалась: я одного мужа угробила, другого от семьи оторвала, а потом и от родины.

– А я пожинаю плоды. Что, не заслужил?

– Да ты околдован просто мной, дурачок.

И так далее. Очень я любила эти наши разговоры с Борисом: мы ощущали себя семьёй, наш дом был нашей крепостью, и мы были уверены, что никто не сможет нашу связку разбить.

Но жизнь незаметно повернулась к нам другой стороной. Умер Брежнев, и в той среде, в которой вращался Борис, вдруг стало беспокойно. Это для меня – «вдруг», а они давно чувствовали, что петля сжимается. Арестовали нескольких директоров магазинов, в том числе и «Елисейевского», а потом расстреляли. Помните? И не его одного. Боря работал не в «Гастрономе», в другой фирме, но тоже волновался и готовился к плохому. И, как выяснилось, не зря: его арестовали прямо в магазине и отвезли сначала в Бутырку, а потом в Лефортово – в КГБшную тюрьму.

Мне ничего не сообщили. Сотрудники и друзья Борины тоже молчали, а может, и не знали. Только когда я в милицию с заявлением пришла о пропаже мужа, выяснилось, да и то не сразу, что он сидит. Заявление у меня взяли, мужа в розыск объявили, и только потом уже я узнала, и то почти

случайно, что он в тюрьме. А это ведь 1983 год был, не 1937. Радио про расстрел Соколова триндит, про аресты других торговых начальников, про укрепление трудовой дисциплины и всё такое. А я в очереди к окошку с передачей стою. Представляете, с какими мыслями?

Но Бог уберёт Борю. Он просидел почти полгода и вышел уже после смерти Андропова – худющий, но красивый, несломленный, оптимистичный, и очень ко мне нежный. Я же встретила его седая, больная и в слезах, а через неделю слегла с первым в моей жизни инфарктом.

Мы в тот год ещё квартиру нашу московскую потеряли: то ли её конфисковали, то ли Борю выпустили на условиях, что он от неё откажется, не знаю. Но Борис сказал: «Забудь», – и я забыла, а мы переехали со всем скарбом в Малаховку – там с тех пор и живём.

Мне, знаете, ещё и лучше: я деревню свою сразу вспомнила, Старицкий наш домик, и стала с удовольствием хозяйничать на Бориной даче: завела огород (потом в голодные годы он нам очень пригодился), поправила старый сад, посадила смородину, малину.

Боря на пенсию вышел и без работы стал быстро стареть, да и я за ним туда же. Потом лихие годы начались, и у нас всё стало, как у всех российских стариков, не заслуживших такой старости. А я так, может быть, как раз и заслужила. Но рассказывать об этом не хочу: грустно и скучно. Вот так.

Я, бывает, думаю о жизни, и вот что интересно: все эти

мелкие города, где я жила, большую роль в истории своих стран сыграли: Кулдига была столицей герцогства Курляндского – Пётр Первый там воевал; Казах тоже был главным городом древнего каганата. Да и в Старице русская история творилась: Иван Грозный здесь вёл переговоры с Польским королём, Екатерина Великая в Старицу не раз заезжала. Но это я уже потом узнала. Знала бы раньше, так, может, и не моталась бы по всему Союзу. Жила бы в своей Старице, а то вернулась бы в деревню. На старости лет часто об этом думаю.

Деревню-то сейчас никто не помнит, какой была, и не любит поэтому. В телевизионных новостях деревенских в таком свете покажут, хоть плачь. Нет, я не говорю, что в деревне всё хорошо. Но всё-таки: к нам в Зарубино лавка продуктовая через день приезжает, дачники появились, газ обещают провести, церковь восстанавливают. В соседних деревнях тоже оживление. А телевизионщики приедут на село, найдут рожу пьяную – долго искать не надо – и снимают. Услышат, что где-то мать родительских прав лишили, или отец с сыном подрались, или ещё чего похуже, и уже слетаются – как мухи на гнильё. А то, что в соседней избе ветеран живёт, сам себя обслуживает и ничего ни у кого не просит, им, видите ли, не интересно. Что пьяница этот лучшим гармонистом на селе был, что сына потерял, а потом жену, что бросал пить сто раз, и не бросил, – так это тоже никого не интересует. Что ж его раньше-то не снимали, когда он в самом соку был?

И получаемся мы в глазах наших московских журналистов людьми никчёмными. Они нас в этом убеждают, и мы видимся никчёмными в своих собственных глазах тоже. И не жалуемся при этом: кушаем, что дают, салфеточкой утираемся.

Конец что-то у меня пессимистичный получился, да? Жизнь оптимистичная, а конец – пессимистичный. Ну, значит, пора спать. Вон и наши из ресторана идут: теперь полный комплект. Спасибо, что выслушали, да ещё и коньячком угостили. Спокойной ночи.

## 5. Эпилог – развязка

В Петербурге нас встретило влажное солнечное утро.

– Ильяс мне такси вызвал, – похвасталась Алёна Ивановна, когда мы вышли из вагона.

– Так вы ко второму мужу сейчас? – я, ещё под впечатлением её ночного рассказа, вдруг почувствовал себя обманутым и не мог этого скрыть.

– Нет, нет, – успокоила меня Алёна Ивановна. – Я по путёвке в санаторий, но путёвку мне устроил Ильяс. Он в этой санатории работает, так что мы, конечно, будем видеться.

Потом подумала и добавила: «Вы не подумайте плохого. Боря знает об этом, он сам Ильяса и попросил. Я сердечница, мне показано санаторное лечение».

Перед тем, как сесть в такси, она взяла меня за руку и, приблизившись полным лицом, сказала полушутя, полувсерьёз: «Я буду вам звонить. Вы один знаете мою историю, вы – хранитель тайны, а значит я имею право. Не возражаете?»

Она позвонила дважды.

В первый раз – в ноябре, и рассказала о том, что лежит в больнице, восстанавливается после третьего инфаркта, и что на подоконнике у её кровати стоят розы от Бори.

Во второй раз она позвонила следующим летом с печальным известием о скоропостижной кончине Ильяса. Мы встретились на похоронах. Алёна Ивановна, бледная и поху-

девшая, стояла рядом с Рустамом, Ильясовым братом. Я подспудно искал в ней то, что заставляло биться сердца мужчин разных народов.

В её облике было что-то от родины-матери, когда она провозжала Ильяса в его последний поход. От неё исходило спокойствие как от человека, знающего главную тайну жизни. В глазах же читалась печаль, словно она сама готовилась отправиться за Ильясом, понимая, что ждать осталось недолго.

Перед отъездом Алёна Ивановна обняла меня и погрозила пальцем: мол, до времени не выдай нашу тайну.

Больше Алёна Ивановна мне не звонила. А осенью, то есть чуть больше, чем через год после нашего разговора в поезде, мне позвонили на мобильный, и незнакомый голос назвал меня по имени и отчеству.

– С кем я? – спрашиваю.

Ответом мне было долгое шуршание. Потом далёкий хриплый голос произнёс: «Это Борис Маркович, муж Алёны Ивановны Петуховой. Слышно меня? Супруга оставила ваш телефон и попросила позвонить, если...», – на том конце закашлялись и замолчали.

Я уже знал, что мне скажут, и покорно ждал с телефонной трубкой, прижатой к вспотевшему уху и с разливающейся в груди незнакомой мне раньше тоской.

Сквозь треск снова прорвался голос, я поймал его на середине фразы и услышал слова, которые боялся услышать: «... скончалась в больнице от инфаркта миокарда 25 сентября.

Похоронили на Малаховском кладбище. Я сейчас сам в больницу ложусь на две недели. Потом в любое время можете приезжать, я вас провожу к Алёне. Она о вас хорошо говорила, и я буду рад познакомиться. Только предварительно позвоните».

В Москву мне удалось вырваться только весной. Вы скажете, правильнее было сразу поехать после звонка Бориса Марковича? Всё так, но год был кризисный и я был на волоске от увольнения с работы, скакало давление: от нервов, а может, от злоупотребления алкоголем. Словом, я дал самому себя убедить в том, что дело не срочное, подождёт.

Приехав в Москву и завершив обязательные дела, я позвонил Борису Марковичу с Курского вокзала, потом позвонил со станции Малаховка, но всякий раз мне сообщали, что аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. Тогда я на попутной машине за пять минут доехал от станции до Малаховского кладбища. Миновав старую еврейскую часть, огороженную забором, за которым теснились один к другому мраморные памятники и надгробья, я по свежим доскам, брошенным прямо в весеннюю жижу, подошёл к двери кладбищенской конторы.

– Найдём могилку, – уверил меня весёлый парень по имени Сеня. – Когда, говорите, похоронили?

Долго шли по кладбищенским дорожкам, обходя глубокие лужи и кучи чёрного снега. Наконец, по узкой тропинке вышли на обрыв, под которым внизу блестела освободивша-

ся ото льда вода.

– Видите, как красиво. Чуть не у самого карьера похоронили. Ближе уже нельзя, санитарные нормы не позволяют. – Сеня говорил, а сам громко и с удовольствием вдыхал весенний воздух с запахами земли, прели и дымка от костра.

И тут я увидел могилу, которую искал. На стандартном гранитном памятнике – свежевыгравированная надпись:

– Алёна Ивановна Петухова (Файнберг).

– Борис Маркович Файнберг.

Даты смерти различались на две недели.

Сеня тактично отошёл в сторонку, но не уходил, ожидая. Скоро, однако, его позвали по мобильному телефону, и он, махнув мне рукой, убежал. А я присел на скамеечку и закурил. В ветках деревьев копошились и тренькали синицы, внизу под песчаным обрывом блестела вода, над которой, отражаясь в рябой её поверхности, летели низкие облака.

Я узнал про Алёну Ивановну и трёх её любимых мужчин всё от начала и до конца.

Теперь и вы знаете тоже.



# Возвращение домой

– Вот и навестил родных, слуга народа.

– Сколько ему лет-то было?

– За сорок, говорят. Думаешь, заказали его, а?

– Ну, не сам же.... Журналист не подпускать к месту происшествия.

– Огородили.

– Хорошо. Ждём москвичей.

Хруст песка, шипенье рации. Далёкое завывание сирены.

Заместитель министра Василий Петрович Колодин всё слышит: и голоса и звуки. Но голову от земли оторвать не может, и пошевелить членами тоже, будто нет у него ни рук, ни ног – пустота одна.

Песок хрустит совсем близко. Взволнованный голос сверху:

– Товарищ полковник! У него голова не так лежала. Нос, вроде, в песок упирался, а теперь вбок торчит.

– Не трогай ничего там, Саша. Бригада скорой уже приехала, разберутся.

– Он жив, товарищ полковник!

– Второй четвертому... Объект, похоже, живой. Подгоняй машину, и врача сюда. Не докладывай пока никому. Бережёного – сам знаешь...

1. Палата интенсивной терапии областной больницы, где третьи сутки лежал Василий Петрович Колодин, изначально была двухместной, но с прибытием высокопоставленного пациента вторую кровать вынесли, а вместо неё втиснули два стола. За одним сидели, сменяя друг друга, медсёстры. возились там со шприцами и лекарствами, заполняли журналы, шёпотом разговаривали по мобильникам и набивали эсэмэски. Место за вторым столом всегда занимал сонный охранник в защитного цвета форме.

Василий Петрович, если не спал, то, лёжа на спине, равнодушно наблюдал за работой медицинского персонала, сменной медсестёр и охранников. Мозг, замороженный лекарствами, с трудом реагировал на окружающее. Поэтому первая эмоция – быстрая, как птица, прилетевшая вместе со свежим запахом дождя из приоткрытого окна – удивила Колодина новизной и простотой. Одна за другой зарождались юные и короткие ещё мысли. Хаос перед глазами сменился зыбкими картинками на грани реальности и фантазии, пока его вдруг разом не накрыла лавина воспоминаний о том, что произошло с ним в последние несколько дней.

Собравшись из столицы в родную губернию, Колодин хотел «убить двух зайцев»: решить деловой вопрос, где требовалось употребить его московские связи и влияние, и посетить малую родину – райцентр Елизаветинку, в котором уже пятый год тянул лямку мэра однокашник и самый близкий друг Колодина Алексей Иванович Порошин.

Министр, подписывая Колодину отпуск, попросил:

– Потолкай, Вася, местное начальство. Регион бедный, а они спят так сладко, будто нефть вчера за околицей откопали. Программу по жилью запорол, дорожные деньги профукали, не говоря уж про инновации: первое десятилетие нового века заканчивается, а они слова такого, кажется, не слышали.

– Поговорю с Бубновым, – расслабленно пообещал Колодин, думая о своём.

– Давай. А то у него срок губернаторский выходит. На новый могут и не выдвинуть.

– Ну, тут уж как карта ляжет, – усмехнулся Колодин, подняв глаза к потолку.

Министр подошёл к Василию Петровичу вплотную и тихо сказал: «Я уже догадываюсь, как». Потом добавил: «Это не для него».

В самолёте Колодин занял кресло у окна в «салоне» первого класса, отгороженном от остальных пассажиров простенькой занавеской, и сразу после взлёта попросил у озабоченной стюардессы коньяку. На душе у него устанавливалось спокойствие.

Внизу остались министерство на Садовом кольце, квартира на проспекте Мира, а в ней жена с пасынком, и ещё одна квартира на Арбате с больной тётцей. Тесть – бывший дипломат высокого ранга, открывший Василию Петровичу путь в коридоры власти, уже два года как ушёл в мир иной.

Больше у Колодина никого в Москве – да и вообще нигде – не было: своих родителей давно схоронил, а братьев или сестёр Бог не дал.

Через два часа Колодин вышел из самолёта, с удовольствием вдыхая сухой, приправленный ароматом степных июльских трав, воздух, столь не похожий на московский. Он постоял бы ещё минутку-другую, перебирая знакомые с детства ароматы, но к трапу бесшумно подкатил чёрный «Лексус» с «мигалкой» и губернаторскими номерами, который Василий Петрович ещё из окна самолёта приметил стоявшим в тени у здания аэровокзала. Пожилой, не знакомый Колодину водитель вышел из автомобиля и стал напряжённо всматриваться в спускавшихся на перрон пассажиров, пытаясь угадать высокопоставленного клиента. Не угадал. Василий Петрович сам подошёл и протянул ему руку, другой рукой подавая чемодан. Водитель открыл для него дверь переднего пассажира, но Колодин решил сесть назад.

«Я его не знаю, говорить с ним не о чем, что ж мне садиться вперёд, – подумал Василий Петрович. И ещё его взяла лёгкая досада: «раньше Бубнов своих заместителей присылал меня встречать».

Водитель, будто прочитав его мысли, повернулся и сказал: «замы все в разъездах, уж простите великодушно».

– Нет проблем, – буркнул Колодин, показав, что не настроен точить ляды. Водитель всё понял и, стремительно взяв с места, пустил машину с ускорением полукругом

по лётному полю, ювелирно с мягким качком проскочил узкие служебные ворота и выехал на автостраду, ведущую в город. Через пятнадцать минут они миновали другие – каменные – ворота с резной кованой решёткой и въехали в тенистый парк. Извилистая асфальтированная дорога, обсаженная липами, привела к ещё одним – внутренним воротам, за которыми виднелся дом усадебного типа с «греческим» портиком, выходившим к бассейну и отражавшимся вместе со старыми ивами в аквамариновой воде. Летняя резиденция губернатора.

– Вторых ворот в прошлый раз не было, – отметил Колодин. – Ничего, это веяние времени, символ, так сказать, беспокойного века. А вот бассейн вместо запущенного пруда – это перебор. Барский дом отделан с иголочки, но стеклопакеты поставлены белые, пластиковые. Сэкономил Бубнов (а, может, подрядчик схалтурил, тогда – недосмотрел), а зря, зря. Приедет какой-нибудь московский начальник с острым язычком – да хоть премьер-министр – пошутит вскользь так, мимоходом, потом полгода от журналистов и интернетчиков отбрехиваться придётся.

Навстречу Василию Петровичу вышла девчонка, одетая как вожатая из его пионерского детства (белый верх, чёрный низ), только без галстука. Она представилась референтом губернатора и проводила Колодина в дом, дважды назвав Иваном Петровичем. Колодин даже не поморщился: что взять с такой красотишки?

– Гости на веранде, – улыбаясь, сказала она. – Прошу Вас, проходите и располагайтесь. Шеф будет через пятнадцать минут.

– Осторожничают Андреич, – подумал Колодин. – Сейчас, наверное, смотрит на всех через какую-нибудь потайную дырочку, или нет – какую дырочку – смотрит на экран монитора в своём кабинете, и отмечает, кто как сел, как себя ведёт, что говорит. Осторожничают, потому так долго и сидит на своём месте. Советская закуска чувствуется.

Василий Петрович, прошёл по коридору, отделанному светлым деревом, чуть помешкав, толкнул ажурную дверь и вышел на веранду, всю «прострелянную» лучами солнца. В центре просторного помещения с окнами до пола, прикрытыми ажурным тюлем, стоял длинный полированный стол, за которым в разных местах сидели несколько человек. Колодин знал в лицо только одного – худощавого мужчину восточной внешности – «олигарха» местного масштаба Тимура Адриановича Хунданова.

Поздоровавшись со всеми и отдельно кивнув Хунданову, Колодин занял кресло справа от губернаторского. Он знал, что это место на совещаниях всегда занимали чиновники федерального уровня. Хунданов, напротив, сидел, точнее, полулежал, подперев ладонью щеку, в самом дальнем углу стола.

– Правильно, бизнес должен держаться в тени, – усмехнулся про себя Колодин.

Открылась дверь, и в помещение вошёл губернатор Бубнов – статный седой мужчина шестидесяти лет с гаком в тёмном двубортном костюме с широкими полами.

– Для начала проведём перекличку, – предложил он, поздоровавшись и заняв свое место во главе стола. – Здесь не все знакомы, поэтому прошу назваться и указать должность. Итак, региональную власть представляет ваш покорный слуга Бубнов Аркадий Андреевич, губернатор, – он привстал и кивнул головой.

– Федеральный центр? – Бубнов посмотрел на Колодина. Василий Петрович встал и представился.

– Хорошо. Военные? – продолжил Бубнов.

Поднялся загорелый мужик в полевой форме: «Полковник Кущин Виктор Викторович, начальник гарнизона».

– Бизнес?

Изящным движением приподнялся Хунданов и, упираясь костяшками пальцев в полированную поверхность стола, чуть наклонив голову, представился тихим голосом, добавив к имени единственную регалию: «бизнесмен».

– Общественные организации?

– Здесь, – быстро отреагировал сидевший в сторонке и явно чувствовавший себя не в своей тарелке парень в джинсах, – Косичкин Алексей, председатель общественного движения «За экологию».

– Отлично. Пресса?

Все недоумённо переглянулись, и Бубнов, насладившись

произведённым эффектом, с ухмылкой бросил: «Шутка».

Опустился экран, и на нём появилась карта.

Колодин узнал очертание заказника «Елизаветинский лес», похожего на зелёного дикобраза, длинный нос которого «обнюхивал» Елизаветинку – родину Василия Петровича, а хвост упирался в промзону областного центра. Лесной массив был настоящий, и зверьё там водилось настоящее: лоси, кабаны, косули и много всякой мелочи. При Елизавете Петровне лес составлял часть царских охотничьих угодий.

В 90-е годы Бубнов поднял вопрос о придании лесу статуса заказника, был поддержан демократическими силами, общественностью, а потом и Москвой. Однако большой кусок леса остался в ведении военных – частично под окружными складами, но в основном просто прирезанным к складской территории. В нём вырос банно-спортивный комплекс для военного начальства, несколько коттеджей, да, пожалуй, и всё.

Упомянутые уважаемые люди собрались в резиденции губернатора для того, чтобы окончательно решить вопрос о передаче областным властям военных земель в лесу, то есть присоединить их к заказнику. Военные выставили свои условия, засуетились потенциальные инвесторы. Василий Петрович обеспечивал поддержку проекта в Москве. Это было не сложно: всё, что предлагалось, вполне укладывалось в русло текущей военной политики, получило одобрение экологов, добавляло очков губернатору перед возможным



выдвижением на следующий срок, словом, устраивало всех. Оставалось согласовать интересы.

Начальник гарнизона полковник Кушин с указкой в руках рассказал о том, что за земли отрывают от себя военные.

– Не только область, – многие хотели бы претендовать на эту жемчужину средней полосы России, – закончил он.

– Если Москва не перебьёт – никто не сунется, – прокомментировал Бубнов слова полковника и повернулся к Колодину: «Василий Петрович, как там питерские москвичи, не претендуют на наш лес?»

– Мне дали понять, что это наше внутреннее дело, у них интереса нет, – ответил Василий Петрович. – Только просили не борзеть.

– Кто просил? – заинтересовался полковник.

– Кто у нас правительством руководит?

– Что, сам?

– Почти.

– Они там борзеют, а нам нельзя? – слышался голос Хунданова с дальнего угла стола.

Никто не обернулся на голос, но все посмотрели на губернатора.

– Ладно, – помедлив секунду, сказал Бубнов. – Перейдём к конкретике.

– Правильно, – одобрил Колодин. – На провокации не поддаёмся. Но что-то очень свободно ведёт себя авторитетный бизнесмен.

– Раскрываем карты, – предложил Бубнов. – Чего хотят военные?

Полковник встал и снова подошёл к карте.

– Мы хотим вот этот участок – он обвёл указкой край леса – девяносто гектаров под коттеджное строительство.

– Для себя?

– Себе тоже, но, в основном, на продажу.

– Всё? – спросил губернатор, скорее для проформы, так как, судя по всему, главные требования военных были с ним уже согласованы.

– Нет, не всё, – помявшись, сказал начальник гарнизона. – Вы знаете ситуацию с жильём для офицеров, увольняемых в запас...

– В областном центре не получите, – рубанул рукой Бубнов, – только в районах. В Елизаветинке хотите?

– Да хоть у чёрта на краю, – оживился полковник.

– Ладно, поговорю с Порошиным. Тридцать квартир отыщем.

– У нас двести шестьдесят очередников.

– А вы постройте для них дом сами. На деньги от продажи коттеджей. – Бубнов, похоже, начинал сердиться или делал такой вид перед предстоящим диалогом с Хундановым. – Вопрос исчерпан, присаживайтесь.

Полковник занял своё место за столом.

– Что у нас планирует бизнес?

– Бизнес денег не просит, – откликнулся со своего места

Хунданов, – и квартир тоже. Наоборот, мы деньги вкладывать хотим: в гольф клуб самый большой в стране, в гостиницу, в жильё при гольф клубе, ну и по мелочам: заправочные станции, торговые точки, парковки.

– Тимур Адрианович, – мягко остановил его Бубнов, – не могу не задать вопрос, поймите меня правильно, – он сделал паузу, и было видно, как сузились глаза бизнесмена.

– Поймите меня правильно, – продолжил Бубнов, будто не обратив внимания на разлившееся в воздухе напряжение, – вы представляете здесь только себя или всё заинтересованное бизнес-сообщество?

– Себя и всех вменяемых инвесторов, – облегчённо и с некоторой запальчивостью ответил Тимур Адрианович. – Болтуны – за бортом, но все, кто что-нибудь стоит, – со мной. Назвать фамилии?

– Не надо, запомним это, господа. И где будет ваш гольф-клуб?

«Ай да Бубнов! Построил авторитетного бизнесмена. Или у них всё разыграно? Не для меня ли?» – вдруг пришло в голову Колодину.

Тимур Адрианович пошёл к карте. Колодин отметил про себя разницу в стиле поведения военного и бизнесмена.

Полковник прост и чист, как лист бумаги. Двойного дна не видно, да, наверное, и нет. Капризничать, конечно, военные будут, могут и дополнительные требования выкатить, но всё, в конечном счёте, разрешится к удовлетворению сто-

рон. На полковника смотреть было приятно именно из-за его однозначности, законченности. Имеешь с таким дело – будь готов столкнуться с упрямством, неуступчивостью, в крайнем случае с простенькой хитростью – вот и все заусенцы.

Бизнесмен – изящен, в этом ему не откажешь: лёгкий льняной костюм, светлые остроносые туфли. Узкая, гибкая фигура, длинные подвижные пальцы рук. Выразительное лицо с благородно вычерченными бровями и крыльями тонкого носа. Национальность с ходу не определишь: восток – дело тонкое. Движения плавные, почти неуловимые, при этом говорит нервно и наступательно. И главное: он сам и манера его поведения рождали у присутствующих сложное, неоднозначное ощущение, одним из компонентов которого было чувство опасности.

Хунданов подошёл к карте и провёл длинным пальцем по границе участка леса, примыкавшего к Елизаветинке: «Вот этот район, в том числе пойма ручья и примыкающие земли сельхозназначения, которые давно не обрабатываются».

Бубнов молча выслушал Хунданова, так что Колодин не понял, является ли предложение бизнесмена чем-то новым для губернатора или они уже обсуждали его до сегодняшнего совещания. Но Василий Петрович понял, что под гольф клуб планировалось забрать земли, на которые имелись планы у него самого, а этого допускать было нельзя. Не затем он организовывал поддержку проекта в Москве

и приехал на это совещание.

– Разрешите, Аркадий Андреевич? – чуть привстав, обратился Колодин к губернатору.

– Давай, Василий Петрович, – подчёркнуто по-свойски отозвался Бубнов.

– Хочу отметить, что в районе, который очертил Тимур Адрианович, имеются уникальные природные объекты, требующие особого режима хозяйствования: это Мокрый луг и пойма Святого ручья.

– Мы изучили вопрос, – посмотрев на Бубнова, ответил Хунданов, – никаких ограничений на использование этих территорий нет

– Там ключи, питающие всю местную водную сеть.

– Вот-вот, ключи, – повторил Хунданов, и его лицо впервые потеряло бесстрастное выражение. – Они будут питать каскад озёр, который мы создадим на территории гольф клуба. А реки не пересохнут. Мы сделали расчёты: останется и народу водица.

– Ну ладно, изучите дополнительно этот вопрос. – Бубнов, видимо, решив разрядить обстановку, заулыбался и повернулся к сидевшему рядом Колодину: «Василий Петрович, а у тебя там интерес, что ли?

– Интерес-не-интерес, а родина, знаете, – ответил Колодин.

– Да, а в чём, собственно, ваш интерес вообще участвовать в этом деле? – вдруг спросил Хунданов – без юмора

спросил, серьёзно. – Мы карты раскрыли, раскройте и вы.

Василий Петрович взял паузу, раздумывая о том, нужно ли ввязываться в рискованную дискуссию и что-то тут объяснять.

Прямого, понятного этим людям, ориентированным на материальный дивиденд, интереса у Колодина не было. Был интерес другого свойства: сохранить (для себя, прежде всего) живописную пойму Святого ручья, рождавшегося на Мокром лугу, где били мощные родники, славные целебной ключевой водой – гордостью Елизаветинки. К этим родникам давно подбирались: то завод по розливу бутылированной воды хотели построить, то санаторий отгрохать для областного начальства, но мэр Порошин не без помощи Колодина все эти попытки спускал на тормозах. Нельзя сказать, что бескорыстно.

Была у Колодина давняя мечта – чуть ли ни детский сон – поселиться на берегу Святого ручья, и чтобы Мокрый луг был виден из окна, и лес за ручьём заповедный.

Они и место с другом-мэром Порошиным выбрали. Как заканчивается частный сектор, к ручью идёт полевая дорога, у которой стоят развалины часовни, а за ними брошенный коровник. Вот от коровника (который, конечно, нужно снести, а часовенку, наоборот, восстановить) и до Мокрого луга пятнадцать-двадцать больших участков нарезать, не скупясь, по полгектара каждый, чтобы не коттедж, а имение возвести на радость себе и потомкам. Колодин с Пороши-

ным и соседей уже себе подобрали: главного архитектора города, бывшего председателя горисполкома, народного писателя всероссийского масштаба, других не менее уважаемых и приятных людей, и переговоры с ними провели. Поэтому интерес Колодина был в том, чтобы Мокрый луг и окрестности его вместе с передаваемым военными участком леса присоединить к заказнику. Тогда был шанс защитить столь близкий сердцу Василия Петровича пейзаж.

Колодин решил не юлить, отчасти потому что не любил, а отчасти потому что с этими людьми юлить было опасно, и рассказал о своём интересе, сведя его, однако, к сохранению в Елизаветинке уникального природного ландшафта и созданию в его окрестностях нового экологичного района малоэтажной застройки.

Колодина поняли правильно, и Хунданов заметно повеселел: «Если дело в экологичной малоэтажной застройке, то – договоримся».

– Конечно, Тимур Адрианович, но Мокрый луг должен стать частью заказника, – не спустил бизнесмену Колодин. – Об остальном будем договариваться.

– Под Мокрый луг иностранные инвесторы денег дадут, – в голосе Хунданова послышалось разочарование, а его лёгкий восточный акцент стал чуть более явным. – Без него проект не реализуем.

– Ну, значит..., – начал, было, Колодин, однако Бубнов перебил его: «Технические вопросы сегодня не обсужда-

ем». Потом шумно встал, оглядел собравшихся и резюмировал: «Я своим распоряжением создаю комиссию с участием всех заинтересованных сторон. Там и завершим обсуждение. Прошу соблюдать конфиденциальность. Все свободны». Повернулся и быстро вышел из помещения.

С уходом губернатора атмосфера стала разряжаться. Хунданов забрал со своего места тонкий кожаный портфельчик и, ни на кого не глядя, двинулся к выходу. За ним торопливо выскочил эколог. Военный подошёл к Колодину с явным намерением познакомиться поближе, но Василий Петрович решительным движением протянул ему руку, которую тот вынужден был пожать и тем самым завершить общение. Когда Колодин остался один, подошла уже знакомая ему девчонка и сказала: «Аркадий Андреевич просит Вас остаться ещё на полчаса.

– С удовольствием.

Через пять минут стремительно вошёл Бубнов, снимая на ходу тяжёлый пиджак.

– Марина, – обернувшись, крикнул он в открытую дверь, – принеси нам чаю, коньяку и закусить.

Аркадий Андреевич подошёл вплотную к Колодину, породный, гладкий, красивый: в белоснежной рубашке и широких шёлковых помочах в синюю клетку. Вокруг глаз – сетка морщинок, но щёки, шея гладкие и ухоженные. Волосы уложены безупречно. Колодин невольно залюбовался Бубновым – так он был при всей своей грузности изящен и гармо-



ничен. Сразу видно человека на своём месте.

Сам Василий Петрович не приобрёл положенного ему по рангу лоска, да и не очень старался: стригся в разных салонах (а надо у своего парикмахера), ходил в костюмах неизвестных производителей (а надо выбирать из десятка уважаемых фирм), мог надеть галстук или ботинки, купленные в супермаркете (в его окружении это однозначно считалось недопустимым). Тщательно выбирал для себя только несколько аксессуаров: часы (по неписанной традиции выбранные им часы получены в подарок за безупречную службу), очки (заказывал у известной фирмы в Германии) и носки (прихоть, имевшая корни в далёком детстве).

С Бубновым Василия Петровича свела судьба года за два до памятной новогодней отставки президента Ельцина. Трудные это были годы для чиновничества, принёсшие много обид и разочарований. А Аркадий Андреевич Бубнов тогда только избрался губернатором и приехал в Москву искать поддержки сильных мира сего. Щегольски одетый, открытый, не пуганый ещё, а скорее даже лихой, но при этом, в чём позже убедился Колодин, расчётливый и умный.

Колодин дослуживал в администрации президента и искал возможности спрыгнуть с подножки поезда, шедшего, как многим казалось, чуть ли не под откос. Многим, но не Бубнову. Не без помощи Василия Петровича Аркадий Андреевич наладил контакты с нужными людьми, и его личные дела и, что важно, дела региона пошли в гору. Они оста-

вались с Колодиным хорошими приятелями, но статус губернатора, конечно, по всем статьям перебивал статус заместителя министра, пусть и федерального.

– Давай поздороваемся теперь по-свойски, – сказал Бубнов, обнимая Колодина за плечи, – борец ты наш за экологию. Сейчас мы с тобой выпьем, закусим, и ты мне про столицу будешь рассказывать.

– Согласен. А вы мне про здешнюю жизнь.

– Так вот она, наша жизнь, – развёл руками Бубнов, указывая глазами на симпатичную референтшу, бесшумно сервировавшую столик на двоих у открытого окна. – Ты же видел сегодня, скольких дармоедов нужно ублажить, чтобы святое дело сделать – заказник расширить.

Подождал, когда девчонка выйдет, и подтолкнул Колодина в спину: «Пойдём».

– Здесь чисто? – скорее по привычке поинтересовался Василий Петрович.

– Абсолютно. Перед каждым приездом мои люди проверяют. Думаешь, кто-нибудь из гостей? Можем музыку включить, если боишься.

– Я не против.

– Мариша, поставь нам что-нибудь душевное... Любу Успенскую или Колю Расторгуева.

– Хорошо, Аркадий Андреевич, – слышался звонкий голос из-за двери.

Колодин подошёл к открытому окну, выходявшему в сад,

и вдохнул аромат цветущего шиповника. Он смотрел на клумбу с «анютиными глазками», остриженную траву на лужайке, и ему представлялся пионерский лагерь, где он по-мальчишески мучительно и сладко влюбился в пионервожатую Лизу. Белый верх, чёрный низ. Пионерский галстук, который потом расписывался глупыми пожеланиями...

Воспоминания Василия Петровича прервал Бубнов, который с гагаринским «поехали!» первый жадно опрокинул рюмку коньяка, налитого им собственноручно из чёрной бутылки матового стекла.

Колодин присоединился к губернатору. Они быстро выпили по три рюмки и теперь не торопясь закусывали.

– Лихо мы сегодня вопрос решили, да? – изящным движением отрезая кусочек сёмги, спросил Колодина Бубнов, – двадцать минут, и всё.

Василий Петрович кивнул, пытаясь прожевать кусок грудинки.

– А раньше все вопросы решались в бане, помнишь, Василий Петрович? Голяком, бывало, на перевернутой шайке государственные документы подписывали, пока девчонки нам спинки тёрли. Забыто теперь это, как первые коттеджи с башнями из красного кирпича, как спирт «Рояль». Всего десять лет прошло, ну – пятнадцать, а насколько цивилизованнее мы стали? Правда?

– Не все, – ответил Колодин. – Я в прошлом месяце на северах был. Вот там баня так баня. Еле отбился.

– Приставали? – хихикнул Бубнов. – Я своим давно запретил. Мне-то что – без виагры уже никак, да и с ней не всякий раз получится. А молодёжь сначала удила закусил: что за госслужба без бани? Но я поставил вопрос ребром: европейцы мы или не европейцы? – Бубнов радостно засмеялся, хитро поглядывая на Колодина. – Вон в Вене мой помощник спросил метрдотеля, где ближайшая сауна, так тот чуть в обморок не упал, как будто про притон какой интересовались.

– В Вене сауна – это и есть притон. Не путайте с Финляндией.

– Ага, поучи дядьку, – добродушно усмехнулся Бубнов, отправляя в рот очередные пятьдесят грамм.

– И матом у меня в администрации не ругаются, – вдруг добавил он. – Не то, что в вашей Москве.

– Кстати о Москве. – Бубнов положил вилку и умными глазами поглядел на Колодина, как в душу заглянул. – Что там слышно, Вася: выдвинут меня на следующий срок?

– Не знаю, Аркадий Андреевич, – помня наставление министра, ответил Колодин. Помолчав, однако, добавил: «Ничему не удивлюсь».

– И правильно. Шепнули мне, Вася, что не выдвинут больше. А это значит, концы надо зачищать, чтобы ни один чёрт придраться не смог. Понимаешь? Раньше – почётная отставка, орден Ленина, поцелуй генсека, служебная дача и автомобиль с шофёром. А теперь радуешься, если уголовку не завели. Мельчаем, братец.

– Ты вот в свою Елизаветинку стремишься, – продолжал Бубнов (молодец, – подумал Колодин, – наблюдательный), а я бы в Москву подался. Хоть бы и на твою должность.

– Понижение для вас будет, Аркадий Андреевич. – ответил Колодин. – Да и дело неблагоприятное. Замминистры – это мазохисты, которых все имеют. Наезжают на министра – сажают заместителя, вы же знаете.

– То-то ты насиделся, прямо в наколках весь...

– Не зарекаюсь.

– Что так? Общак министерский держишь?

– Начинается, – с неудовольствием подумал Колодин, потянувшись за бутылкой. Вот так он однажды под рюмку рассказал Бубнову о том, что приходится заниматься всякими тёмными делами: таскать туда-сюда сумки с деньгами, встречаться с сомнительными личностями, решать судьбы неугодных власти, но толковых и симпатичных людей. Бубнов тогда ответил жёстко, как отрезал: «Не министру же этим заниматься». И, в принципе, был прав: кочегару ли стесняться чёрных рук? Больше к этому не возвращались, но иногда под шафе Аркадий Андреевич подкалывал Колодина как сегодня, а Василий Петрович всегда расстраивался по этому поводу и злился.

– О больном ни слова, Аркадий Андреевич, – коротко ответил Бубнову Колодин.

– Ладно, ладно, – сказал Бубнов примирительно, однако не удержался и съязвил: «Домик на Рублёвке не построил

ещё?»

– Без комментариев, – терпеливо произнёс Василий Петрович.

– А что, у вас там, говорят, по благу бесплатно можно.

– Щас, – Колодин не то, чтобы разозлился, скорее, чуть ли не обиделся. – В Москве слова «бесплатно» никто не знает.

– Ладно, ладно, – повторил Бубнов, наполняя обе рюмки. Выпив, он делался расслабленным и даже сентиментальным. Вспомнил старую историю о том, как в Кремле встретился с президентом в неформальной обстановке.

В последний год ельцинского правления, когда окружение президента фактически изолировало его, ослабевшего физически и политически, Аркадий Андреевич почти случайно попал на кремлёвский междусобойчик, где зондировались варианты политической перегруппировки в преддверии отставки президента (о которой тогда, естественно, присутствующие не подозревали). Бубнов в то время не был в фаворе у «демократического» крыла ельцинского окружения, так как сделал несколько неосторожных заявлений о необходимости поставить под контроль миграцию для того, чтобы снизить межнациональную напряжённость. Пресса отреагировала немедленно. Его называли коммунфашистом, а регион собирались включить в «красно-коричневый пояс». Бубнов испугался, сменил риторику и стал искать встреч в Москве, чтобы объясниться и как-нибудь загладить вину.

Однако никто из приближённых к президенту с ним

не разговаривал, и Бубнов, политическим чутьём понявший, что его гладкая карьера под угрозой, пришёл за помощью к Василию Петровичу.

С подачи Колодина Бубнов и оказался на закрытом банкете в Кремле. Искали «мальчика для битья». Василий Петрович позвонил Бубнову и прямо спросил: хочешь, чтобы тебя побили? Есть один шанс из тысячи, что отбрешешься, очки наберёшь. Один – но есть. А так – политический труп. Бубнов долго не думал и согласился. Была у него эта черта, которая нравилась Колодину, и которой Колодин сам, как ему казалось, был лишён: пойти ва-банк – или пан, или пропал.

На междусобойчике, однако, решали другие вопросы, и о Бубнове будто забыли. Он подходил к одному, к другому из президентской команды, заискивал, оправдывался, но от него отмахивались. Бубнов понял, что дело глубже, чем он ожидал, однако в чём оно заключается – не знал.

Президент – уже больной, обрюзгший, но в хорошем настроении сидел в окружении «семьи», и время от времени подзывал к себе кого-нибудь из губернаторов на пару слов. Наедине ни с кем не оставался, всегда кто-нибудь из «свиты» был рядом. Бубнов не удостоился аудиенции, а потому сидел расстроенный и напряжённый, в то время, как все, наоборот, расслабились. В окружении президента раздались взрывы смеха, туда понесли подносы с шампанским и графины с морсом. Бубнов вышел в коридор и прошёл в туалетную комнату. Встал там у окна, мял в руках сигарету. Вдруг дверь

открылась, и он увидел президента собственной персоной.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.